

Российская Академия наук
Институт философии

Ася Сыродеева

МИР МАЛОГО
Опыт описания локальности

Москва
1998

1998

ББК 15.56
С 95

Рецензенты:

доктор филос. наук *Н.Н.Козлова*
доктор филос. наук *В.А.Кругликов*

С 95

Сыродеева Ася

Мир малого. Опыт описания локальности. — М., 1998. — 124 с.

Пространственно-временная фрагментарность, контекстуальность, случайность, ироничность фактически составляют оттенок современной социокультурной ткани, определяемый в предлагаемых эссе как локальность. Привлекая философский, социологический, психологический, литературно-поэтический материал, автор рассматривает вопросы о контурах данного феномена, обстоятельствах его актуализации, потенциальных возможностях. Повествование ведется в стилистике, соразмерной и созвучной характеру описываемого феномена. Особое место отводится взаимосвязи локальности и принципа целостности, очерчивающей круг надежд и опасений, которые современники связывают с миром малого.

ISBN 5-201-01987-0

©А.Сыродеева, 1998

©ИФРАН, 1998

Предисловие

Настоящее издание объединяет тексты по теме «Локальность» за достаточно продолжительный период. При этом в ходе работы ощущения исчерпанности тематики не возникало, возможно, потому что сам предмет тем временем жил, откликаясь на происходившие сдвиги в социокультурном контексте, видоизменялся и подсказывал новые сюжеты.

Рабочим для приведенных ниже текстов стало представление о локальности как о феномене, «собирающем» целый ряд современных социокультурных тенденций: в их числе пространственно-временная фрагментарность, плюралистичность, контекстуальность. Будучи своеобразным социальным синонимом этим тенденциям, локальность не столько их обобщает, сколько делает явным то, как они намекают друг на друга, взаимоперекликаются, выступают составляющими достаточно заметного оттенка современной социокультурной ткани. Являясь своего рода пучком векторов нашего времени, локальность представляет собой образование, с одной стороны, трудноопределимое, а с другой – легко узнаваемое во многом. Ее по праву можно считать настроением, характеристикой социокультурной атмосферы второй половины XX столетия.

Позади остался тот период, когда локальность утверждала себя как еще только намечающийся акцент, когда аспект противостояния, противодействия и в разговоре о ней и в ее собственном содержании был отчетливо выражен. Ныне «спорящие стороны» отказались от установки на изничтожение противника. Дискуссии стали более конструктивными – на повестку дня все чаще выносятся конкретные вопросы реального функционирования локальности.

И все же некоторые вопросы не утрачивают злободневности. Один из принципиальных среди них: насколько локальное «локально»? Другими словами, говоря о явлении, имеющем отношение к различным пространственно-временным формам эпизодичности, разорванности социальной реальности или, используя более метафоричный образ, к малому, как быть с его нынешней распространенностью, множественностью «отсылок»?

Коллизия данного вопроса постоянно присутствовала при работе над темой. В предисловии не хотелось бы спешить с ответом. Ведь этот раздел по-своему локален относительно книги в целом. Вместе с тем, в связи с обозначенным вопросом здесь уместно было бы сказать несколько слов в пользу выбранного жанра. Допускать лакуны, пробелы при движении от одного этапа повествования к другому, жанр эссе фактически позволяет отступать от принципа комплексности, систематичности, а поэтому представляется адекватным для феномена, подобного локальности, — многогранного и неоднозначно воспринимаемого современниками. Данний жанр разрешает выборочное освещение и субъективную интерпретацию. Он оставляет дверь в мир, о котором ведется повествование, открытой для других, приглашает к продолжению беседы тех, кого в той или иной мере заинтересовал предмет разговора.

В этих начальных строках хотелось бы сделать одно признание. Многие из звучащих на страницах данной работы голосов принадлежат людям, создавшим реальный контекст, в котором фактически и осуществлялось письмо. Я благодарна судьбе за то, что она привела меня в это пространство. Я также признательна коллегам по Институту философии РАН, друзьям и родным, которые своим душевным теплом и поддержкой подарили мне ощущение того, чем же, собственно, является для человека его частный, локальный мир, как можно его построить и разделить с другими.

ВВЕДЕНИЕ

Локальность не является социокультурным феноменом, свойственным лишь второй половине XX столетия: очевидно, что самые разные эпохи знали о неповторимости мига, уникальности того или иного места в пространстве, ценности и своеобразии фрагмента художественного произведения. Однако в кризисные для устоявшегося миропорядка периоды локальные социальные образования, процессы и соответствующие им установки обретают особую, дополнительную актуальность. Вторую половину XX века характеризует атмосфера ожидания возможных катастроф глобального масштаба (экологической, демографической, военной). Другая важнейшая особенность времени – тенденция к падению роли социальных скреп, некогда обладавших мощным интеграционным потенциалом (тоталитарные идеологии, отчасти мировые религии). Руинизация, затронувшая самые разные уровни функционирующего социума, сделала локальные формы более заметными, демонстрируя их принципиальную адекватность для самореализации социальных субъектов.

Сказанное не надо понимать так, будто при этом оказались подорваны основания любой формы целостности и единения. Объектом критического осмысления стала главным образом система представлений, господствовавшая в общественном сознании в течение последних трех столетий, а также связанные с ней формы социальной организации. Обвинения в адрес модернистского мировоззрения касаются потенциала насилия, властного контроля, содержащегося в иерархическом структурировании общественной реальности с выраженным доминированием центра и «верха»; линейно-восходящих, безальтернативных форм развития, базиру-

ющихся на апелляции к норме, идеалу; тактики на-
саждения тех или иных социальных рецептов в каче-
стве всеобщих.

Отмеченные объективные обстоятельства кризиса и критического переосмыслиния некогда стабильной социокультурной ситуации провоцировали поиск альтернатив. При этом предпринимавшиеся шаги были нацелены не на конструирование чего-то более совершенного, а на выявление моментов органичных для существования человека в социуме, но в силу каких-то причин остававшихся без должного внимания, либо преднамеренно вытесненных, дискредитированных. Исключительная установка на должное, просчитанное, рационально обоснованное стала сменяться чутким вслушиванием в ритм жизни. Именно этот сдвиг сделал актуальным феномен локальности.

И вот мы становимся свидетелями того, как в сфере экономики весомый статус обретает мелкий предприниматель. При всей своей продуктивности и экономичности массовое производство не столь чувствительно, не так быстро и безболезненно, как мелкое, способно откликаться на меняющийся спрос или, наоборот, пробуждать его. Между тем подобная «сенситивность», делающая акцент на моменте новизны, позволяет выиграть время, что, по всей видимости, является одной из наиболее результативных установок в обществе потребления. Общественный спрос меняется скорее случайным образом, а потому плохо поддается рациональному предсказанию. Малый бизнес в этом смысле оказывается куда более адаптивным, чем крупные корпорации.

Межсубъектное взаимодействие все более определенно характеризует новая система установок в отношении социальных меньшинств. В результате демонтажа многих видов социальных иерархий, строившихся по национальному или этническому, религиозному или

половому признакам, а также в ходе распада целого ряда крупномасштабных общественных систем, на социальную арену вступили образования, ранее не имевшие на это ни прав, ни возможностей, будучи упрятаны, увязаны в сложные структуры и лишенны статуса независимости, собственной социальной ниши. Субкультуры самой разной направленности при этом полностью не утрачивают свойства социальной периферийности. Однако устранение четко выраженной позиции социального центра, наделенного существенным объемом власти, способствует обретению многочисленными социальными меньшинствами статуса реальных социальных субъектов.

В общественных науках широкое распространение получает тип исследований, именуемый «case study» – предполагающий изучение главным образом конкретного случая, ситуации. Соответствующая ему исследовательская установка базируется на том, что ученый сознательно сужает фокус своего внимания, нацеливает его на частное, которое пытается, тем не менее, подвергнуть как можно более подробному и разностороннему анализу. Отдельный локус, таким образом, получает статус полноправного и независимого предмета изучения.

В области искусства утверждаются жанры, характеризуемые композиционным сдвигом в направлении мозаичности, когда деталь, фрагмент, эпизод обретают дополнительную степень самодостаточности и динамики. Элементы оказываются легко вычленяемыми из произведения, которому они некогда принадлежали. И так же, без особого затруднения они поддаются сочетанию с теми, что имели очень непохожую историю происхождения. Реже ставится вопрос о гармоничности произведения искусства, зато чаще обращает на себя внимание необычность и смелость работ-коллажей, со-

бранных из цитат и осколков, хоть и напоминающих о своей родословной, но уже очень слабо с ней связанных.

Безусловно, «цикличность переходов от малого мира в большой, от здравомыслия к доктрине, от примата индивидуального опыта ко «всемирно-историческому <...> и обратно воспроизводилась в европейской культуре уже несколько раз» (А.Панарин)¹.

Периодичность подобного рода, считает российский философ, восходит к древнему разделению труда землепашцев и скотоводов, в результате которого произошло размежевание двух картин мира. Ход истории всякий раз накладывал характерный отпечаток на эти два типа мировоззрения, однако сохранялись интенции того и другого. Вот как А.Панарин определяет каждый из них, описывая момент смены мировоззренческих акцентов: «Когда же банкротство «крупномасштабности» обнаруживается, когда тщета «Больших Чисел» и «Всеохватывающих Решений» становится очевидной, намечается поворот к новому стилю, возводящему в кульп частное и малое, что воспринимается как возвращение человеку соразмерного ему мира или возвращение Человека в Мир»².

Несомненно, что общая тенденция актуализации феномена локальности испытывает воздействие конкретных общественно-исторических факторов. Распад соцлагеря, макродержавы СССР послужил существенным катализатором распространения в границах российского социокультурного пространства принципа локальности, будь то на уровне общественных установок или практики поведения социальных субъектов. Помимо всего прочего процессы, идущие в России, показательны тем, что сдвиги, вызванные перестройкой, касаются не только пространственного, но и временного параметра: на повестку дня вынесены вопросы как суверенитета социальных структур, так и обры-

ва, смены логики общественного развития. Российская социальная ткань оказалась ныне разорвана сразу по нескольким основаниям.

Обращение к феномену локальности представляется существенным для ориентации в современных принципах организации социальной действительности. И в то же время осмысление этого явления — предпосылка адекватного решения ряда конкретных общественных проблем сегодняшнего дня.

ПРЕДЕЛЫ И ПРЕГРАДЫ, ТРЕЩИНЫ И РАЗРЫВЫ

...Маленькое -л- ее глаголов, -л- прошедшего времени было скальпелем, потихоньку, ласково распиливающим нашу историю напополам, аккуратно, чтобы не взорвалось, отделяя прошлое одним большим ломтем от невозможного будущего.

Максим Павлов

Объявление локальности социокультурным феноменом представляется возможным в силу ряда обстоятельств. Одно из них – свойственная реальности многообразность, будь то онтологического или гносеологического, аксиологического или эстетического порядка. Вторая половина XX в. отмечена сдвигом, в соответствии с которым плюральность становится особенно ощутимой и обретает дополнительную ценностную значимость.

Настоящий сдвиг характеризуется, в частности, тем, что истина начинает пониматься не как нечто объективно раз и навсегда данное, а как продукт человеческого сознания, меняющий свой облик в зависимости от конкретной мировоззренческой ситуации, от позиции отдельного социального субъекта. По мнению Р.Рорти, сегодня становится все очевиднее, что истину не имеет смысла искать в объективной реальности, ибо фактически истина творима человеком. «...Только предложения могут быть истинными <...> человеческие существа создают истины в процессе создания языков, в которых выражаются предложения», – пишет он³. «Дробление» истины приводит к утрате ею статуса абсолютного кри-

терия оценки. При этом универсальную систему отсчета сменяет множество частных, относительных, случайных. Таким образом, дается «зеленый свет» вариативности.

Отмеченный сдвиг вывел на первый план креативный и интерпретационный тип деятельности. Акцент при этом делается на перманентном созидании нового, не перечеркивающем существовавшее, на выработке параллельных трактовок конкретного социального момента, осуществляемых в «личном» языке, с «личных» позиций. Произошедший сдвиг в общественном сознании интеллигенция, например, профессионально воспроизвела как смену модернистской законодательной практики (предполагающей ставку на считающееся однозначно верным) в пользу постмодернистской интерпретационной практики (в рамках которой оперируют рядом вариантов без предпочтения в пользу какого-либо одного)⁴.

«Реальность сегодня более чем когда-либо прежде плюралистична», — замечает Б.Макхейл. Приводя эти слова, З.Бауман констатирует (фактически относя свой тезис к ситуации постмодерна в целом): «Для искусства, именуемого постмодернистским, центральный вопрос состоит в том, как локализовать, идентифицировать, отделить конкретный мир, хорошо зная, что этот мир лишь один из многих возможных и сосуществующих, а также что анализ этого мира, каким бы изощренным он ни был, вряд ли сколько-нибудь приблизит нас к универсальной по охвату истине»⁵.

Локальность обусловлена еще одним обстоятельством. Многоликость мира базируется на том, что своеобразие каждого социального элемента гарантируется и защищается обрамляющими пределами, они же препятствуют экспансии на чужую территорию, наконец, предотвращают смешение. Продвижение сквозь границы наталкивается на сопротивление с их стороны. Однако самая общая характеристика границ как факта социаль-

ной жизни была бы односторонней без учета такого их свойства, как относительность. При всех своих ограждающих и преграждающих возможностях они в той или иной степени проницаемы и подвижны. Иными словами, их нельзя не замечать, но не менее нереалистично переоценивать их роль.

Как это ни удивительно, но определенный факт нередко становится более явным, когда «обрастает» сомнениями, высказываемыми в его адрес. И в самом деле, оказавшемуся под обстрелом вопросов не угрожает фактическое исчезновение. Напротив, акты вопрошания, требуя аргументов, способствуют выясечиванию всевозможных нюансов. Чуть ли ни в каждую сферу социальной действительности сегодня врывается сомнение относительно тех или иных границ. Так ли определена граница между искусством и псевдоискусством, нормой и патологией, мужским и женским началом? Но вряд ли в какой-либо из социальных областей вопросы-сомнения стали предвестниками полного устранения границ. Скорее данные вопросы сделали факт существования последних более очевидным, а отношение к ним более сенситивным и дифференцированным.

Один из доводов в пользу гибкости, с которой имеет смысл подходить к осмыслению функций границ – существование социальных субъектов, находящихся на «меже». Маргинальные личности, сообщества – те, кого Г.Зиммель именовал «the strangers» (посторонними) – требуют к себе отношения, которое не является «чистым» отношением к «своим» или «чужим», «друзьям» или «врагам», ибо сочетают в себе свойства частично той или другой стороны⁶. Они ни по ту и ни по эту сторону границы. Проявление двойственности их положения состоит, в частности, в том, что «посторонний» нарушает резонанс между физической и психической дистанцией – он физически находится рядом, оставаясь в отдалении духовно», – отмечает З.Бауман⁷. Ус-

кользая от однозначной классификации в качестве представителя какого-либо лагеря, маргиналы своей нетождественностью с «нами», тем не менее, не подрывают основ «нашей» специфиичности и *одновременно* свидетельствуют о существовании «миров» иных, хотя в чем-то и похожих на наш собственный. Они не угрожают, в принципе, социальному порядку и вызывают чувство опасения лишь у сторонников жесткой социальной однозначности.

Третье обстоятельство – разрывы, нередко порождающие лакуны внутри гомогенных образований, паузы в развертывании процессов. Приближение *«fin du siècle»* создало атмосферу повышенной чувствительности прежде всего к временному, процессуальному аспекту данного факта. Этому способствует и такая причина, как возросшая социальная мобильность, которая периодически ставит нашего современника в ситуацию смеси социальных ролей, перемещения в социальном пространстве, а нередко и изменения самоидентификации. Превратившись в предмет пристальной социальной рефлексии, дисконтинуальность обсуждается с различных точек зрения и в контексте целого ряда проблем. Общепризнанная континуальность предстала тесно переплетенной со своей противоположностью.

Идея дисконтинуальности привлекается как методологический принцип при анализе и описании конкретного момента истории. Так, например, по мнению А.Гидденса (реализующего то, что он сам называет «дисконтинуалистской» интерпретацией модернистского общественного развития), необходимой предпосылкой для определения того, что есть модерн, является установление природы дисконтинуальностей, характерных для этого периода⁸.

В свою очередь З.Бауман работает с диалектической связкой континуальность/дисконтинуальность при рассмотрении отношений модерна и постмодерна. Его

позицию отличает признание последнего в качестве исторического этапа, специфического типа социального состояния, находящегося в неоднозначной связи с модерном. «...«Постмодернистские» проявления обнаруживаются уже в самой эре модерна, в то же время наступление эры постмодерна совершенно не означает, что формы философской и социальной практики, типичные для «модерна», должны навсегда уйти со сцены», — пишет он⁹. И в другой работе: «Постмодернистские феномены <...> на самом деле могут рассматриваться в качестве поверхностных симптомов значительно более глубинного социального изменения, обусловленного логикой модернистского развития, однако в ряде существенных моментов находящегося с ней в отношениях дисконтинуальности»¹⁰.

Дисконтинуальность дает о себе знать и в конкретных жизненных ситуациях, в которых могут оказаться целые государства, как, например, страны бывшего соцлагеря, пересматривающие многолетнюю историю своей страны; или отдельные группы населения, личности, в частности беженцы, вынужденно расставающиеся с устоявшимся образом жизни. В подобных случаях встает вопрос о необходимости определенных социально-терапевтических мер, ибо «ампутирование» отрезка истории страны или личной жизни может переживаться достаточно болезненно.

Нельзя не отметить, что в настоящее время наблюдается всплеск критического отношения к разрывам революционным, радикальным и резким, насилиственно привносящим качественные изменения. В пылу непримиримого их отрицания, к сожалению, нередко забывают о существовании иных вариантов дисконтинуальности. Между тем очевидно, что любой процесс, в том числе и самый рутинный, состоит из этапов и переход к каждой последующей стадии предполагает некоторую завершенность предыдущей.

Заслуживает внимания различие «техник» осуществления обрыва, дробления на этапы, представленное А.Панариным как берущее свое начало (о чем уже отмечалось выше) от сложившихся на заре человеческой истории двух типов социального субъекта: земледельца и скотовода-кочевника. Первый «не ждет чуда, прерывающего ход времени: духовная стабильность земледельца сродни тем чередующимся и ритмично воспроизведимым процессам, которые идут в самой природе и составляют предпосылку его труда». Во времени же кочевника «нет качественно обособленных этапов, связанных отношениями жесткой последовательности <...>. Это время более вольного ритма <...> в нем заключена соблазнительная прерывность, провоцирующая на «большие скачки». Это «особый тип пульсирующего, скачкообразного времени». Кочевник «чувствует себя выключенным из нормальных циклов, из ритмики непрерывно воспроизводимых, повторяющихся гражданских процессов. Свой «шанс» он связывает не с повседневным чередованием приливов и отливов, а с появляющимися трещинами в порядке бытия, обещающими скорый обвал»¹¹.

Перечисленные обстоятельства, список которых, по всей видимости, далеко не полон, представляются узловыми точками, очерчивающими контуры феномена локальности. Отталкиваясь от них при попытке сформулировать, что составляет плоть и кровь данного феномена, не стоит забывать и об этимологии имени феномена.

Прежде всего, локальность – указание на место в социальном пространстве и времени. Как правило, место имеет свой неповторимый колорит, социальный почерк, «дух» (В.Глазычев), это – некий микромир, живущий до определенной степени в соответствии с собственным ритмом, собственными законами. Место выполняет существенную роль в процессах идентифи-

кации, наделяя социальное образование, процесс наиболее стабильными и непреходящими чертами их облика. Ничто не является жестко привязанным к социальному контексту и непереносимо на иную почву. Однако погруженность в конкретные условия с неизбежностью накладывает специфический отпечаток. Пребывая в том или ином месте, попадая в него, действуешь по правилам его логики, стилистики. Более того, место задает ракурс видения окружающей социальной реальности, культурную призму, сквозь которую осуществляется ее восприятие. На карте социальной действительности Место случайно, оно одно из многих других, но при этом характеризуется уникальной, самобытной сущностью.

Очевидно, что место возможно лишь как нечто обрамленное, имеющее границы. Поэтому локальность есть, кроме того, предупреждение о пределах, об обрывах. Она напоминает о невечном, небесконечном; о невозможности чему-то быть, равно как и что-то встречать всюду либо всегда. По сути своей локальность есть выражение относительности социальной действительности и противостоит различным формам абсолютизации, в том числе идеи всеобщности, тотальности. Жизнь же в соответствии с локальностью социальной реальности предполагает определенную степень аскетичности, наложения ограничений на собственные вожделения. Личность в этом случае учится отказываться от экспансивных претензий и одновременно обретает подспорье, помогающее преодолеть состояние утраты личностно значимого. Идущего по жизни принцип локальности поддерживает психологически и страхует нравственно. Друговость, изменчивость при этом впускаются в жизнь субъекта, включаются в его картину мира. Человек становится гибче и мобильнее, более склонен к саморедескрипции. Одновременно признается объектив-

ность существования Другого, непозволительность его «оккупации», насаждения инородной ему логики, чуждых принципов существования.

Таково общее представление о локальности, послужившее отправной точкой для последующего повествования о данном феномене.

МАССОВИЗАЦИЯ КАК КОНТЕКСТ

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету.

Владимир Набоков

Придерживаясь позиции, что мыслить исключительно в логике противопоставления непродуктивно (более того, это не согласуется с нынешней направленностью обществоведения), тем не менее представляется правомерным использовать этот принцип на отдельных этапах работы. Дело в том, что, хотя социальный феномен в принципе отличает определенная степень самоценности, в каждом частном случае он получает воплощение в рамках вполне специфического социального контекста, не учитывать воздействие которого на функционирование соответствующего феномена неоправданно. При этом между социальной ситуацией и феноменом (или отдельными его сторонами) могут складываться достаточно напряженные отношения. Однако, как ни странно, нередко подобное напряжение оказывается фактором существенной актуализации данного явления.

Феномен локальности не в последнюю очередь получил широкое распространение во второй половине XX столетия как ответ на угрозу для субъектности. Его акцентуация в этот период представляет собой резонанс, вызванный антисубъектными тенденциями, ха-

рактерными для массового общества, такими как разрушение границ социального субъекта, размывание его специфики, лишение партикулярности, — иными словами, опасностью многому из того, что в действительностиозвучно, близко содержанию феномена локальности.

По образному выражению Х.Ортеги-и-Гассета, XX век ознаменован выходом на «авансцену, к самой рампе, на места главных действующих лиц» массовидных объединений¹². Диапазон форм их проявления удивительно широкий: это и спонтанно возникающая толпа, и массовое движение, объединяющее представителей разных уголков планеты, и читательская аудитория периодического издания, и болельщики спортивных состязаний. Как социальная структура масса парадоксальна. Она способна объединить людей, принадлежащих самым разным общественным стратам, подкупая тем, что может дать человеку, и пугая тем, что незаметно у него отнимает.

Говорить об общепринятой характеристике массы, охватывающей все многообразие ее эмпирических вариантов, объясняющей ее неоднозначность, очень сложно. Не способствовали этому и оценочные, идеологические интерпретации, высказывавшиеся как западными, так и советскими обществоведами, — интерпретации, в которых она квалифицировалась соответственно то в качестве «коммунистического», то «буржуазного» продукта. Определенную надежду на всестороннее и объективное осмысление этого феномена вселяют сторонники взвешенной позиции, к числу которых принадлежит Р.Гвардини, отмечавший: «...по существу, как и другой человеческий тип, она (масса. — А.С.) образует определенную историческую возможность. Она не принесет с собой разрешение экзистенциальных проблем и не превратит землю в рай; но она — носитель будущего, во всяком случае ближайшего будущего, пока его не сме-

нит более отдаленное»¹³. Не намереваясь представить исчерпывающий анализ данного социального явления, а также не вступая в дискуссию по поводу того, какие свойства массы являются ключевыми, а какие вторичными, присущими лишь некоторым ее типам, хотелось бы остановиться на чертах массы, имеющих отношение к проблеме субъектности ее членов¹⁴.

Масса представляет собой монофункциональное образование. Она обычно складывается по поводу какой-то одной деятельности и функционирует именно в ее логике. Как отмечает Б.Грушин, масса является «чистой функцией от определенной (массовой) деятельности, типичной общностью *ad hoc* (для данного случая)»¹⁵. За пределами этого плана активности она утрачивает основания для собственного существования и распадается. Очевидно, что с соответствующей деятельностью увязано и членство в массе. Будучи распахнут для всех без исключения желающих, этот тип структуры на деле допускает лишь одну форму активности. Включенность именно в нее «спрашивается» со вступивших в массу. Качества и навыки иной содержательной направленности в период пребывания в массе остаются социально невостребованными. Иными словами, односторонность форм бытия массы в определенном смысле ограничивает сферу индивидуального проявления в период нахождения в ней. В массе, в отличие от групповых социальных образований, человек сталкивается с условиями односторонней самореализации, он получает возможность проявить себя, по точному замечанию Г. Маркузе, лишь «одномерно».

Помимо отмеченного, для массы характерен и другой вид ограничения вариативности функционирования ее членов. Данная «целостность», в отличие от групповой, <...> не имеет структуры, характеризуется *аморфностью*. Максимум, о чем можно говорить в отношении массы, это о той или иной, например, пространствен-

ной (как в случае с аудиторией массового зрелица) упорядоченности ее членов – не больше», – отмечает Б.Грушин, выделяя отличительные особенности массы¹⁶. А, как правило, с устраниением функциональной специализации исчезает одна из существенных форм выражения своеобразия каждого из членов общности. Внутри массы в принципе невозможно провозгласить себя автором либо адресатом того или иного акта – эти роли в равной мере принадлежат любому из участников. Всякое действие оказывается анонимным и одновременно в некотором смысле коллективным: оно уже конкретно ничье, но никто не может от него и отречься. Члены массы фактически повязаны друг с другом отсутствием индивидуальности.

Двухступенчатая операция выравнивания – «упрощение» каждого из входящих в массу при одновременном устраниении различий между ними – превращает любого рода действие ее участника в действие наравне с другими и в ряду других, тем самым лишая его самого личностной *дискретности*. Индивид растворен в теле массы. Последняя подменяет принцип «кто-то» принципом «все».

Сказанное не надо понимать, будто масса по своей природе есть однозначно репрессивное социальное образование. Существенно, что членство на описанных условиях нередко оказывается предметом личного выбора, своего рода психологической альтернативой, противопоставляемой по какой-то причине неудовлетворяющему субъективному состоянию.

Очень тонко этот внутренний шаг передан в рассказе В.Макарина «Сюжет усреднения»¹⁷. Человек в пути. Позади остается дневной зной. Медленно спускается ночь, погружая все в прохладу тумана. Вдалеке показался костер. Ближе и ближе подходит к нему путник, смотрит «на пламя, на красные угли, стараясь уже на подходе по-человечески совместиться с сидящими

усталыми людьми, совпасть с их тихим общением»¹⁸. Потеснившись, ему уступают место, и вот «возникает первый покой растворения, когда твоего «я» нет, а взамен есть единое человеческое тепло, общий ток крови, причастность и принадлежность»¹⁹.

Размышляя над этим психологическим состоянием, В.Маканин приводит соответствующие аналогии из русской истории. Он вспоминает, сколь выразительно подобное переживание описывала русская литература XIX в. как «сюжет о муках индивидуальности, о муках «я», которое жаждет и ищет раствориться»²⁰. Уезжая на Кавказ (фактически на ту или иную войну), уходя по дорогам странников и богохульцев, герой того времени был одержим светлым и теплым образом единения, погружения в «бездну неразличимости»²¹. Это было решение не видевшего смысла в обособленном существовании и (или) осознавшего ограниченность возможностей собственного «я», иными словами, ищущего поддержки со стороны других, остро нуждающегося в ней.

Представленное В.Маканиным состояние, которого человек нередко стремится достичь в массе, – не чисто русский культурный феномен. Э.Канетти, в частности, отмечает, что очевидная значимость этого субъективного состояния для многих людей способствует использованию его в самых разных общественных акциях. «Все лозунги справедливости, все теории равенства вдохновлены в конечном счете этим опытом равенства, который каждый по-своему переживал в массе», – пишет он²².

Однако в собственно массовом обществе масса перестает быть предметом личного выбора. Связанный с ней экзистенциальный оттенок становится все менее отчетливым. «Путь» к массе до предела сокращается, ибо теперь она оказывается практически повсюду. Проникновение и укоренение массы на все новых и новых территориях социального пространства в немалой степ-

пени обусловлено склонностью каждой конкретной массы «растекаться», «разрастаться» в общественном пространстве. Этому типу общности свойственно обволакивать внешнеотстоящие островки социальности, рекрутируя в свои ряды новых членов посредством самых разных техник. И равно тому, как масса не акцентирует в людях, объединяемых ею, ничего кроме одного общего аспекта, собирающего их в целостное образование, она «нечувствительна» к социальным границам, обрамляющим, символизирующими и защищающими специфику иных социальных миров. Масса насаждает свое влияние, в ней всегда содержится потенциал агрессии. Это в некотором смысле империя единобразия, утверждающая себя на месте былых Культур.

На массовизацию «работают» самые разные общественные процессы. Существенный вклад, например, был сделан повсеместным утверждением в промышленности машинизированного труда. Машина привнесла индифферентность по отношению к индивидуальным свойствам участников производственного процесса. Со временем машина уравняла между собой также и потребителей — многократным тиражированием одних и тех же атрибутов быта. Несколько позднее радио, телевидение, печать стали предоставлять большому числу людей унифицированную информацию.

Несколько более подробный анализ воздействия процессов массовизации на субъектность, которая лишается главной своей характеристики — партикулярности, хотелось бы продемонстрировать на примере средств видеокоммуникации, которые подрывают принцип границы в самом широком смысле, тем самым существенно способствуя диффузии, рассеиванию субъектности.

В настоящее время человек обрел возможность преодолевать громадные расстояния не только на очень высокой скорости — будучи пассажиром автомобиля,

поезда или самолета, но и практически без каких-либо затрат собственных сил и времени – в частности, лишь сидя у видеокартины. Так американцы совместно с жителями Тель-Авива слышали сигналы воздушной тревоги во время войны в Персидском заливе, радость или горе отдельной семьи сегодня может стать предметом обсуждения многих миллионов, участие в «прогулке по космосу» в некотором смысле доступно всем. Будучи в силах соприкоснуться «здесь и теперь», находясь, например, вечером дома, чуть ли ни с любой реальностью, наш современник с помощью многоканальных средств видеокоммуникации кроме того оказался наделен способностью совмещать реальности как близкие, так и отстоящие в пространстве и времени. Пребывая сразу в нескольких «прямых эфирах», человек тем самым как бы преступает собственные естественные рамки, выходит за них, становится в некотором смысле безграничным.

Однако парадоксальность возможностей, открываемых нынешним историческим моментом, состоит в том, что параллельно с расширением горизонта восприятия субъекта, неограниченным увеличением форм его социального участия, сам он также не может скрыться от всепроникающего информационного луча. С помощью последнего границы нарушаются и в обратном направлении. На разного рода дисплеи выводятся показатели, отражающие работу человеческого сердца и печени, состояния сна и бодрствования, эмоциональные перепады, равно как и передвижение в пространстве, контакты с другими людьми. В результате мир приватного в принципе лишается традиционной своей защищенности, превращаясь в предмет всеобщего обозрения, он распахнут для окружающих. Как отмечает Ж.Бодрийар, человек «не в состоянии более обеспечить границы собственного бытия»²³.

Упомянутый французский философ воспринимает изменения, вносимые средствами видеокоммуникации в повседневную жизнь человека, далеко не как нечто эпизодическое, малозначительное. Напротив, он рассматривает их как один из компонентов общей, глубинной социальной тенденции. Мир в принципе, как выражается Ж.Бодрийар, становится бесстыдно порнографичным. Возросла проницаемость всякого рода границ, что влечет за собой взаимопепрелетение некогда разных по природе сущностных начал. «...Слишком велика близость всего, неаккуратная смешанность всего касающегося, инвестирующего и проникающего без сопротивления», — пишет он²⁴. Угроза нависает над определенностью не только контуров, но и содержания социальных объектов и субъектов. Под вопросом оказываются привычные компоненты идентичности. Мир как будто лишился социальных образований, которые представляют собой конкретный набор качеств и имеют определенное местоположение. Узурпированное прежде теперь развеяно по миру, который все меньше можно помыслить однозначными определениями, жесткими оппозициями и многоступенчатыми иерархиями.

Но почему, несмотря на все сказанное, столь нередки упоминания об «облаках социальности», «лоскутных институтах» (Ж.-Ф.Лиотар), «островах порядка» (З.Бауман), «провинциях смысла» (Дж.Урри)? Что это за оазисы в насквозь продуваемом мире? Как ни удивительно, в некоторой мере они обязаны своим «признанием» все тому же информационному лучу, о действиях которого шла речь выше. Проникая в прежде недоступные, «закрытые», а нередко и тщательно оберегавшиеся от постороннего вмешательства системы, информационный луч (вы)являет нечто остававшееся скрытым, он не столько перестраивает социальную реальность, сколько делает некоторые присущие ей

моменты очевидными. А именно, преодолевая границы того или иного социального образования, он вычленяет, высвечивает структуры, которые длительное время воспринимались лишь в контексте, лишь в рамках области влияния этого образования. Не без воздействия современных информационных систем оказались разорваны «канаты», которыми стягивались тотальные системы в политике, экономике, идеологии, обыденном сознании, и части, которые их составляли, обрели возможность функционировать в соответствии с собственной логикой. Будучи способен дотянуться как до близкого, так и до удаленного, информационный луч в некотором смысле устраивает пространственную, временную, статусную перспективу и открывает россыпь миров, относящихся к разным эпохам, регионам, культурам.

Возвращаясь к рассмотрению процессов массовизации более общего характера, имеет смысл отметить также следующее. Каким бы катастрофичным ни представлялось воздействие массовизации на функционирование социальных субъектов XX в., нельзя не признать: в обществе ничто не может быть уничтожено единственным, пусть и очень влиятельным, фактором. Прежде чем определенное явление окажется «задушено», не одна его модификация будет опробована. Среди таких реальных возможностей, выплеснутых процессами массовизации на поверхность общественной жизни, — локальность, представляющая собой субъектность, реализуемую в ограниченных пространственно-временных масштабах. Ситуативность и эпизодичность, готовность к саморедескрипции и самоограничению — характеристики нынешнего способа функционирования социального субъекта. Собственным нигилизмом самостийности, специфики массовизация фактически привлекала внимание к этим моментам, сделала их актуальными для общественного сознания. Угроза имеет

свойство придавать тому или иному факту статус осознаваемой, постоянно воспроизводимой (пусть и в ограниченных масштабах) ценности.

Массовизацию не стоит рассматривать как смертельную угрозу субъектности, скорее она намечает тенденцию к ее модификации. Вторая половина XX в. показала, что самые пессимистические прогнозы, звучавшие на протяжении первой половины этого столетия относительно «разрушительной» силы массовизации, не оправдались. Тем не менее ей удалось внести существенные акценты в социальную реальность. Угроза субъектности, отличающая массовизацию, как представляется, способствовала обретению социальными субъектами второй половины XX в. достаточно выраженного свойства локальности. Некоторые из конкретных форм проявления последней будут рассмотрены далее.

ЛОМАНАЯ СУДЬБЫ

...Из мелких приступов одиночества <...> и состоит, собственно, жизнь...

Ролан Барт

Об актуальности социокультурных процессов, как правило, свидетельствует степень их проникновения в текстуру сугубо личной сферы, в жизнь отдельного человека.

С какими аспектами существования личности связан феномен локальности? В первую очередь хотелось бы назвать такой, как общий контур линии жизни индивида. На деле отдельные моменты феномена локальности (в частности, обрывы, вызывающие их случайности) в немалой степени задают рисунок жизненного пути личности.

Вспомним типичное для советской действительности представление, объявлявшее аналогом предпочтительной логики индивидуальной жизни *прямолинейный* вектор, устремленный в направлении некоторых существенных целей. Жизненные этапы при этом провозглашаются тесно взаимосвязанными – каждый подготавливает почву для последующего. Отсутствие результатов на ранних стадиях квалифицируется как основание для проблем в будущем. Социально стигматизируется как постановка общественно неодобряемых целей, так

и случаи «отклонения» от некого основного русла, предполагающегося в жизни каждого. Иными словами, жизненный путь понимается как непрерывное развитие, внутренне связанное приверженностью значительному, как *постоянное восхождение*.

Способы, которыми прививались подобные принципы жизни, были самые разнообразные. В гуманитарных областях школьного образования, например, они выражались в настойчивой критике внутренних метаний героев Ф.Достоевского и внешней непродуктивности действующих лиц пьес А.Чехова; в умелом сглаживании противоречий, существовавших во взглядах В.Маяковского и С.Есенина, М.Цветаевой и Б.Пастернака, с помощью соответствующей подборки текстов при составлении учебной программы, сборников избранных произведений; в неизменном формулировании в качестве экзаменационной темы школьного сочинения темы «Подвига», для которого есть место в жизни каждого, и вопрос лишь в способности мобилизовать себя на воплощение этой задачи.

Подобного рода установка нередко порождала психологические комплексы «неудавшейся жизни», «профессионального провала». Так семейной трагедией становилось решение юноши или девушки в противовес желанию родителей не поступать, либо, начав учиться, бросить высшее или среднее специальное учебное заведение (даже если этот поступок мотивировался стремлением серьезно заняться самообразованием вне институциональных структур). Профессионализм понимался как результат постоянного кумулятивного процесса обретения знаний и непосредственно увязывался с последовательным прохождением обязательных этапов обучения. По аналогичной причине очень болезненно совершался уход в отставку руководителя любого ранга. Негласно карьера квалифицировалась как успешная, если смерть настигала человека «при исполнении». От-

существовала культура снятия полномочий, предполагающая, с одной стороны, с достоинством совершаемый шаг «в сторону», а с другой — уважение в отношении предпринявшего этот акт.

В принципе цельность характера, стиля жизни с полным правом может рассматриваться как желаемое. Однако не следует недооценивать роль факторов самой разной природы (индивидуальной, межличностной, общесоциальной), способных серьезно воздействовать на «траекторию» жизни. Любой человек имеет склонность или бывает вынужден время от времени сходить с прежней «тропы», по каким-то причинам утратившей для него смысл, либо оказавшейся заблокированной, и вступать на новую. Не потому ли психологическая наука, богатая разработками стадий психического развития ребенка от рождения до окончания школы, мало что сообщает о жизненных этапах взрослого человека? Пожалуй, единственными в этом плане являются кризисы 40 и 55-60 лет. Возрастные кризисы — это те точки, через которые, как правило, проходят *ломаные линии* разных судеб. Индивидуальное же преодоление кризиса вновь разводит линии судеб, демонстрирующих свой уникальный и непредсказуемый рисунок.

Последствием общественного представления об однозначно цельной логике индивидуальной жизни подчас оказывается отсутствие у личности «иммунитета» в отношении разного рода изменений, тем более кардинальных. Единый и единственный стержень жизни, встречая на своем пути преграду, легко ломается, а все, что выстраивалось относительно него, распадается. Давление, оказываемое переоценкой *всей жизни*, необычайно травмирует.

Между тем та или иная форма блокировки не создает хаоса или вакуума смыслов и ценностей в случае признания некоторой степени внутренней разорванно-

сти логики индивидуального бытия. Более того, в нынешнем динамичном мире в принципе сложно оставаться в рамках единожды осуществленной идентификации. Как отмечает З.Бауман, наш современник способен сконструировать план своей жизни лишь ретроспективно, восстанавливая его из имевших место эпизодов²⁵. Изменчивое социальное окружение заставляет периодически переосмысливать собственный облик, представления, способ существования.

Вместе с тем речь идет не о беспрерывной карнавальной смене ролей, масок, позиций, но об элементе скептически-иронического отношения к себе, о готовности при необходимости к самопересмотру в соответствии с ситуационными, возрастными и другими изменениями. При этом культура редескрипции предполагает, с одной стороны, способность достойно расстаться с определенным этапом в своей жизни, с другой – открытость для нового. Прошлые и каждая новая ипостаси личности существуют в разных плоскостях, в разных ценностных системах, и потому нет смысла их противопоставлять или сравнивать. Переходя из одной в другую, человек выбирает новый «язык» для самовыражения, новые горизонты индивидуального бытия. В.Набоков поэтически выразил этот факт в четверостишии:

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы – а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.²⁶

Итак, представление об однозначной целостности жизненного пути человека вряд ли можно считать соответствующим объективному положению дел; более того, идеализация данного момента нередко выливается в насилие над естественным способом пребывания человека в социуме. Однако все сказанное не означает абсолютизацию разрывов, непоследовательности, спон-

таннысти. Континуальные и дисконтинуальные моменты на самом деле переплетены в индивидуальном событийном ряду, и личность то совершает усилие по сборке эпизодов со своим участием, то пытается прервать неумолимый поток событий. Мы, как правило, хотим продлить желанное и приостановить неприятное; более того, осуществить это в том месте, в тот момент, который избран прежде всего нами, а не объективным ходом событий. Мы бываем недовольны тем, когда обстоятельства складываются иным образом, соответственно мы противопоставляем им субъективно привнесенную в одних случаях прерывность, в других — непрерывность.

Немало иллюстраций того, что для человека желаемым может оказаться как один, так и другой акт, дает роман М.Пруста «В поисках утраченного времени». М.Пруст фактически превращает в одно из главных действующих лиц повествования духовный мир человека. Он рассказывает читателю не только и не столько о жизни ряда французских семей начала века, сколько о действиях, актах внутри названного мира — о тех из них, что совершаются, и тех, что наталкиваются то на внешние, то на внутренние препядсы. В контексте настоящего разговора существенно, что внутренний мир составляют как цели по увязке ряда событий, выстраиванию их в некоторую последовательность, так и наоборот — по разбивке, дроблению, нарушению череды событий.

Позиция М.Пруста в сжатом виде сформулирована в следующих словах: «...ведь нет же почти ничего абсолютного, — во всяком случае, такого, что было бы всегда абсолютным, — в человеческой душе, одним из законов которой, поддерживаемым внезапными притоками воспоминаний, является прерывистость»²⁷. Для французского писателя прерывистость духовного мира личности взаимосвязана с актом воспоминания, в сти-

листике которого выполнен и которому в определенном смысле посвящен роман. Отсылка к процессу воспоминания, столь существенному для М.Пруста, свидетельствует о том, насколько большое значение писатель придавал разрывности, фрагментарности. При этом память, по мнению М.Пруста, работает на прерывность, будучи способна разорвать ход событий и вставить в него из своих кладовых те или иные вкрапления. «...Наша жизнь так не хронологична, в вереницу дней врывается столько анахронизмов!» — пишет М.Пруст²⁸.

Пожалуй, наиболее рельефно феномен разрывности духовной жизни представляет следующее описание М.Пруста. «...Именно прогулки по направлению к Германту научили меня различать состояния, сменявшиеся во мне через определенные промежутки времени и даже делившие между собой мой день с точностью лихорадки: одно наступало и прогоняло другое, и хотя они соприкасались, но это были совершенно разные области, никак между собой не сообщавшиеся, так что, находясь в одном состоянии, я не мог понять, не мог даже представить себе, чего я желал, чего боялся, что осуществил, пока находился в другом»²⁹. Уже в этом отрывке обращает на себя внимание одно из основных следствий разрывности для онтологии духовного мира личности — плюральность. Но еще более выразительно данный факт передает следующее наблюдение: «...то, что мы именуем любовью, ревностью, не есть постоянная, недробимая страсть. Любовь и ревность состоят из бесчисленного множества одна другую сменяющих любовей, разнообразных ревностей, и все они преходящи, но их непрекращающийся наплыв создает впечатление постоянства, создает иллюзию цельности»³⁰.

При самом общем знакомстве с прустовской психологией прерывности вряд ли может остаться незамеченным различие им разрывов-состояний и разрывов-актов. Первые — объективные моменты, независи-

мые от воли человека (их М.Пруст называл *l'intermittence du cour* – «интермитенциями», «перебоями сердца»)³¹, вторые – произвольные действия, совершаемые личностью. Объективный характер одних дает право относиться ко вторым как к чему-то вполне органичному для человеческой природы. Но если предполагается существование разрывов-актов, тем самым в некотором смысле признается реальность факта континуальности. И в самом деле было бы нелепо отрицать, например, непрерывность временного потока. В свою очередь, признание факта плуральности, о чём упоминалось выше, естественно, ставит вопрос: как следует собирать отдельные фрагменты? Таким образом, введение различия состояний и актов позволяет выделить два дополнительных замысловато переплетающихся плана в сосуществующих континуальности и дисконтинуальности духовного мира человека.

Отмеченное объективное/субъективное различие делает явной ту роль, которую эмоциональный фактор, как уже отмечалось, играет в запуске в одних случаях процедур сборки, в других – разбивки. Так, например, герой романа М.Пруста пытается получить целостную картину очаровавшего его восхода солнца, которую летящий поезд разрывает на поворотах, попеременно отражая её в противоположных своих окнах. «Розовая окраска стала ярче, небо залил багрянец, и я, приникнув к стеклу, впился в него глазами, – я ощущал его связь с основами жизни природы, но в это время железная дорога изменила направление, поезд повернул, картину утра сменила в оконной раме новая деревня с крышами, голубыми от лунного света, с мостками, обрызганными опаловым перламутром ночи, под небом, еще усеянным всеми ее звездами, и мне стало жаль, что я потерял из виду полосу розового неба, как вдруг я увидел ее снова, только теперь уже красную, в противоположном окне, а затем, при новом повороте, она

скрылась и здесь; и я начал бегать от окна к окну, чтобы сблизить, чтобы вновь сшить обрывающиеся, противостоящие части моего прекрасного багряного зыбкого утра в цельный вид, в неразорванную картину»³².

М.Пруст описывает и более сложную ситуацию наложения объективной континуальности времени, акта по удержанию континуальности и акта-разрыва. Роль эмоционального отношения в этом случае представлена особенно отчетливо: герой пытается (про)длить приятные чувства и прервать (с тем, чтобы «начать по новой») неприятные; отталкивается он от вехи календарной, по сути всегда формальной. «...У меня было ощущение и предчувствие, что новогодний день ничем не отличается от других, что это не первый день нового мира, когда я мог бы все начать съезнова и перезнакомиться с Жильбертой, как в дни Творения, как будто прошлого не существовало, как будто отпали вместе со всеми уроками, какие можно было извлечь из них для будущего, все обиды, которые она мне иной раз причиняла, — что это не первый день нового мира, ничего не сохранившего от старого <...> кроме одного: кроме моего желания, чтобы Жильберта любила меня. Поняв, что если мое сердце и хотело, чтобы вокруг меня обновилась вселенная, не удовлетворявшая его, то лишь потому, что мое сердце не изменилось, я подумал, что сердцу Жильберты тоже нет оснований меняться; я почувствовал, что новая дружба — это все та же дружба, точь-в-точь как новый год: ведь он же не отделен рвом от старого, — это только наша воля, бессильная настигнуть годы и переиначить их, без спросу дает им разные названия»³³. Как можно видеть, М.Пруст не отождествляет психологическое усилие исключительно с континуальностью, либо с дисконтинуальностью.

Показательно, что, будучи написан в начале XX в., роман «В поисках утраченного времени» сегодня отличает особая популярность. Похоже, индивидуальный опыт М.Пруста был насыщен моментами, которые имеют прямое отношение к нынешней повседневности.

Разговор о месте феномена локальности в жизни личности был начат с крупной структурной единицы – общего рисунка жизненного пути, попытки показать, насколько извилисто он обычно бывает. Затем были рассмотрены события, которые, собственно, определяют нелинейность этого пути – разрывы. Теперь настало время перейти непосредственно к самим локальным образованиям, которые возникают в результате разрывов в логике жизни и из которых складывается ломаная линия жизни. Прежде чем обратиться к третьему сюжету, стоит заметить, что в нем сознательно будет использовано расширительное толкование феномена локальности по сравнению с тем, которое фигурировало в начале данного раздела. А именно, речь пойдет не только об этапах процесса, события, но и, например, об элементах предмета, образа.

Функцию метафорического понятия по отношению к локальным структурным образованиям, думается, могло бы выполнить понятие «малого». Удивительным образом этот, казалось бы, неакадемический термин обретает роль одного из ключевых в книге Р.Рорти «Случайность, ирония и солидарность»³⁴. Своим текстом американский философ вводит нас в действительность, в которой совершаются процессы «конструирования чего-то малого», «упорядочивания», «составления узоров из всевозможных малых вещей» и которая по сути представляет «сеть малых случаев», «малых случайных фактов». Думается, мир малых форм, описанный Р.Рорти, и есть тот самый мир, в котором протекает реальная жизнь личности. Через малое действительность является каждому, и в малых же формах мы себя в ней реализуем. Объективность, играющая своей многогранностью, повернута к нам всякий раз лишь какой-то из сторон: не стоит преувеличивать и наши собственные возможности.

Чему «учит» такого рода мир? Коль малое — это то, из чего складывается окружающая человека реальность, нерачительное отношение к моментам на первый взгляд незначительным грозит утратой и более серьезных, фундаментальных вещей. Своим существованием мир малого предполагает признание инаковости, действительности отличной, нетождественной; он не экспансивен, в нем лишены оснований претензии на глобальность, например, иметь безраздельную власть над всеми аспектами существования того или иного предмета, субъекта, или желание видеть определенное явление непротиворечивым, постоянным. В то же время детали и эпизоды на деле есть посредники между нашим приватным миром и миром отстоящим. Они выступают в роли своего рода сигналов-намеков, знаков, информирующих, предупреждающих человека, либо подсказывающих, настраивающих на иную тональность. Вот почему важно уметь их воспринимать и читать.

Р.Рорти обращается к идее малого не просто как к тому, что помогает создать систему отношений человека с миром, соответствующую элементарным принципам гуманности, но как к тому, что позволяет описать положение, на которое вправе надеяться и претендовать человек в мире — его реальные возможности. При этом подразумевается не только ограниченность, присущая человеческому существованию, но и самодостаточность. Человек, будучи чем-то малым, вполне независим. По словам Р.Рорти, наметившаяся в настоящее время ироническая стратегия жизни характеризуется стремлением избегать ситуаций, когда тебя вынуждают «застыть на фотографии, снятой с перспективы другого человека»³⁵. И дело не просто в отказе от системы принципов, *раз и навсегда* задающей направление, контуры существования, но прежде всего от той системы, что не является продуктом *личного выбора*. Инспирируя собственными перманентными сомнениями акт пересмот-

ра сложившегося личного облика, стиля жизни, индивид склонен осуществлять редескрипцию по собственному сценарию — лепить себя в соответствии с задуманным им самим образом, получающим воплощение в индивидуально выработанной знаково-смысловой семантике.

Одним из существенных следствий смещения акцента в развитии индивида на процессы «самоконструирования», «самосборки» (З.Бауман) становится по крайней мере частичное высвобождение человека из-под процедуры сравнения, которая легко запускается системой общественных идеалов, провозглашаемых, как правило, всеобщими и несомненными социальными ориентирами. Будучи предельной формой выражения некоторой суммы положительных качеств, общественные идеалы имплицитно задают континuum степени обладания последними. Люди самые разные тем самым оказываются как бы выстроеными «по ранжиру», по степени приближенности к социально желательному. При этом личность воспринимает себя лишь в контексте иерархии выраженности тех или иных характеристик — процедура внутреннего соотнесения себя с другими в плане соответствия «положительному» нормативу становится хронической. Признание же множественности жизненных путей, индивидуальных картин мира свидетельствует об обретении права руководствоваться в жизни собственной системой принципов.

ПОЧЕРК ПОВЕСТВУЮЩЕГО

Я живу, продолжая не свою подлинную историю, а только те части, которые сумел сделать литературой.

Макс Фриш

Выше было показано, насколько феномен локальности органичен повседневной жизни личности. Между тем имеет смысл отметить, что некоторыми локальностью может кроме того возводиться в принцип само выражения. В этом случае она уже не просто признается в качестве объективной данности, но становится средством, активно используемым личностью. Породненность с локальностью как с ключевой субъективной установкой, ее укорененность в деятельности превращает данный феномен в то, что можно было бы именовать индивидуальным стилем.

Делая акцент на субъективном аспекте при разговоре о локальности-стиле, нельзя не отметить, что как таковой стиль не изобретается личностью. Скорее он представляет собой импровизацию, базирующуюся на некоторой совокупности представлений — в данном случае связанных с феноменом локальности.

В соответствии с этими вводными замечаниями в настоящем разделе хотелось бы не только остановиться на ряде примеров функционирования локальности в

качестве индивидуального стиля повествования, но и привлечь внимание к некоторым явным параллелям между различными нарративными почерками.

Для начала прибегнем к помощи компетентных комментаторов, которые помогут ощутить своеобразие локального стиля, несмотря на то, что сам этот термин ими не используется. Итак, проследуем за М.Рыклиным, читающим текст Ж.Деррида о путешествии в Москву, и взглянем с позиции Р.Бернстайна на тип письма, присущий М.Фуко.

Начнем со слов М.Рыклина об упомянутом тексте Ж.Деррида. «Среди многих шумных кампаний, рецептов спасения и поздних, слишком поздних признаний <...> эти заметки приходят, как говорил Ницше, «на голубиных лапках», среди фейерверков и хлопушек нашего времени их так легко не заметить, пропустить»³⁶. По всей видимости, именно стилистика французского философа подсказала М.Рыклину образный ряд, через который он знакомит с данными заметками русскоязычного читателя. И дело здесь не столько в том, что подобный стиль разделяем не многими. Думается, решающей является размерность, присущая стилю.

Ж.Деррида пытается рассказать читателю не более чем «собственную маленькую историю», «незначительную версию»³⁷. Другими словами, небольшие масштабы отличают задачу, которую ставит перед собой автор. Описывая собственное посещение страны, находящейся на этапе пересмотра семидесятилетней истории, в самом начале пути поиска новых принципов существования, французский философ воздерживается от каких-либо прогнозов, не говоря уже о рецептах. «...Если бы меня попросили одним словом определить специфику философии Жака Деррида <...> – это было бы просто слово «осторожность». Осторожность перед лицом великих мифологем здравого смысла, обещаний невиданного прорыва, свободы, которую нам завоевывают или

сулят завоевать одним сенсационным ходом», — отмечает М.Рыклин³⁸. Работа «на понижение» формулируемых задач служит выражением внутреннего убеждения, что нет той высоты, с которой кому-либо было дано видеть и знать все, на все случаи жизни и тем более лучше других.

Мала размерность не только общих целей, на которые ориентирован названный текст, но и структурных единиц, составляющих его. Ж.Деррида умышленно придерживается установки, как он сам отмечает, «писать в виде фрагментов»³⁹, выделяя в связи с интересующей его проблемой лишь «отдельные относящиеся к делу детали»⁴⁰. Своеобразными гарантами такого рода структурных единиц выступает, например, отказ Ж.Деррида от процедуры, при которой «порядок post factum приносится туда, где его первоначально не было»⁴¹. Более того, автор как бы не решается заполнить пространство создаваемого им текста исключительно личными впечатлениями, а постоянно перемежает, перебивает их следами путешествия в СССР Р.Этьембля, А.Жида, В.Беньямина. Делается это с первой же «взятой ноты» — с названия, которое, по его собственному замечанию, представляет «соцветие цитат»⁴². В «составленном» Ж.Деррида заголовке «Back from Moscow, in the USSR» фактически фигурирует отсылка к произведению А.Жида, к песне «Битлз», к цепочке ассоциаций, связанных с событиями личной биографии. «Лоскутный» принцип письма, сочетание на страницах одной работы разных типов «текстуры» также способствует ограничению размерности.

М.Рыклин именует избранный Ж.Деррида стиль письма «нarrативным минимализмом»⁴³, полагая, что реальные, действительные расстояния, которые удается пройти индивидуальным усилием, только и могут быть миллиметрами⁴⁴. Стоит ли обманывать себя и других чем-то большим?

Обращаясь к прочтению Р.Бернстайном текстов М.Фуко, мы обнаруживаем, что в центре внимания практикующего локальный стиль может оказаться и такой аспект, как предел. М.Фуко отводит последнему совершенно особую, и что самое главное, неоднозначную роль. Вот он, как бы всем своим существом ощущая давление, исходящее от разных форм ограничений, выступает «мастером разоблачения темной, стесняющей стороны «человеческих» практик, которые придают форму нашим судьбам и нашим телам»⁴⁵. Но в то же время пределы мотивируют, «заряжают» М.Фуко энергией преодоления, это те отправные пункты, из которых он пытается сам и призывает нас двигаться в новых направлениях. «...Фуко может быть прочитан как всегда стремящийся продемонстрировать нестабильности, точки сопротивления, места, где контрдискурсы способны возникнуть и совершить нарушения, изменения», — отмечает Р.Берн斯坦⁴⁶. Другими словами, именно «связь между конкретными ограничениями и нарушениями»⁴⁷ является стержнем стиля М.Фуко. Производные же этого стержня — сближающая его с Ж.Деррида критика любого рода глобальных решений, а также текст письма, постоянно дробимый обрамлением «скобками» (в прямом и косвенном смысле) сделанного им же самим ранее⁴⁸.

Подмеченное Р.Бернстайном в текстах М.Фуко хорошо выражает то, что в данной работе определяется как стиль в принципе (и как локальный стиль в частности). М.Фуко — скрупулезный исследователь самых разных форм социального предела (и в первую очередь тех, которыми оперирует власть). Он относится к социальному ограничению как к значительному, на его взгляд, объективному факту. Однако самого по себе, даже столь настойчивого, высоко профессионального, но лишь отстраненно-исследовательского, интереса недостаточно для того, чтобы можно было говорить о

выборе личностью конкретного стиля. Последний базируется не только на учете объективных фактов, но кроме того предполагает опирающуюся на определенное представление деятельность. Стиль – это всегда в некотором смысле практика (за которой, безусловно, стоит концепция), установка на реальные шаги по достижению тех или иных целей. М.Фуко отличает именно то, что он преобразовал собственные знания исследователя социального предела в стратегию личного поведения.

Объективное давление предела кем-то может просто не замечаться, кем-то восприниматься как граница, за пределы которой нельзя ступить, либо как черта, за которой простирается нечто иное («не должное», «не твое»). Для М.Фуко предел – свидетельство одновременно рубежа-конца (чаще всего внешнеустановленного) и начала собственного движения, поиска, развития. Предел – стык объективных фактов, замеченных М.Фуко, и его субъективных устремлений. Ощущив, осознав один из принципов организации социальной деятельности, французский философ специфическим образом его преодолил и связал с собственной жизнью. Предел, принадлежащий к ключевым характеристикам социокультурной локальности, М.Фуко сделал для себя средством мотивации, источником деятельности. В этом состоит его личная «породненность» с локальностью как с операциональным средством, в этом – превращение локальности в стиль М.Фуко.

* * *

Продемонстрировав, как те или иные аспекты локальности обретают статус стержня практики повествования, хотелось бы также остановиться на возможностях данного стиля в применении к конкретному социокультурному материалу. Показательными в этом смысле представляются поэтические тексты Т.Кибирова.

При обращении к ним прежде всего бросается в глаза мастерство работы с фрагментом. Виртуозно оперируя речевыми осколками, тасуя ритмы языковых рядов, Т.Кибиров создает тексты, которые можно было бы назвать энциклопедическими. Они представляют социальные типажи из самых разных пространственных и временных «уголков» отечества в удивительном многообразии своих проявлений. Но завораживают эти стихи не столько зримостью создаваемых ими образов, сколько до боли знакомым ощущением «мешанины родимого бреда»⁴⁹, в которой горечь и радость, естественное и идеализированное странным образом всегда переплетаются. Вслед за поэтом трудно удержаться от смеха над одними моментами и примириться с другими. Но при этом отчетливо осознаешь, что ни от чего не можешь отречься; все, о чем повествуется, в равной мере ощущаешь неотъемлемо своим. Отношение к собственной стране (о которой, или, точнее, о жизни в которой, фактически все время идет речь) постоянно сопровождает оттенок амбивалентности. Неслучайно поэтому Т.Кибирова трудно цитировать, ибо следующие чуть ниже строки то и дело отбрасывают эмоционально в каком-то новом направлении. Из фрагментов собранный его стихотворный ряд сам как бы сопротивляется процедуре членения. Это поэзия замысловатой, но не выдуманной *связи* фрагментов. Вот и эти из числа заключительных строк послания художнику С.Файбисовичу, отражающие описанную черту кибировского стиля, в свою очередь так и хочется предварить всем, что выше было сказано другу о еще столь многом светлом и о соседствующим с ним по жизни еще столь многом грустном.

Вот она, вот. Никуда тут не деться.
Будешь, как миленький, это любить!
Будешь, как проклятый, в это глядеться,
будешь стараться согреть и согреться,
луч этот бедный поймать, сохранить!

Щелкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь,
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом!
Бестолочь, сволочь, величие это:
Ленин в Разливе,
Гагарин в ракете,
Айзенберг в очереди за вином!

Жалость, и малость, и ненависть эту:
елки скелет во дворе проходном,
к международному дню стенгазету,
памятник павшим с рукою воздетой,
утренний луч над помойным ведром,
серый каракуль отцовской папахи,
ядин портрет в бескозырке лихой,
в старой шкатулке бумажки Госстраха
и облигации, ставшие прахом,
чайник вахтерши, туман над рекой.⁵⁰

Коллажность строк Т.Кибирова удивительно естественно воспроизводит на уровне текста ту «зебру», че-респолосицу социального тротуара, по которому приходится двигаться в жизни. Поэт повествует о хитросплетениях судьбы, о тех узлах, в которые бывают завязаны, казалось бы, совершенно разнорядковые вещи и к которым было бы нечестно относиться однозначно.

Естественным образом его мучает вопрос, как история, некогда сшившая лоскутное образование по имени СССР, сама разорвала его, распорола собой же простроченные швы. На глазах большое (соцлагерь, страна, идея, дело) превратилось в гору то ли обломков, то ли пока еще обрубков, в которых продолжает теплиться жизнь. Глядящий на них поэт ощущает боль, но, конечно же, не боль утраты прежних монстров. Это боль от мысли, что смерть большого приводит к забвению всего, в том числе и светлого, что, будучи некогда вплетено в «общую» ткань, согревало и поддерживало. История собственной страны сделала присущую жизни ми-

молетность особенно явной и мучительной. Т.Кибиров вновь и вновь возвращается к этой теме то менее, то более иронично.

Что-то пропадом все пропадает,
на глазах осыпается мир⁵¹.

Что стояло — опадает.
Выпадает, что росло.
В парке девушка рыдает
опершися на весло.⁵²

Настойчиво в акте письма Т.Кибиров постоянно «сжимал кулачонки, пытаясь удерживать между пальцами жизнь»⁵³. Что же в силах спасти поэт собственным словом, напоминающим о былом образе, ритме, чувстве? Похоже, спасти можно лишь отдельные детали. Только их способна сохранить память. Только они остаются с нами, когда за окном звучит уже совсем другая музыка. И необычайно светлыми стихами о детстве Т.Кибиров как бы спрашивает: разве удается что-то большее уберечь даже из самого дорогого? Точно так же, разве на что-то большее можно надеяться, «сквозь прощальные слезы» глядя на то, как оказывается перевернута очередная страница истории твоей страны⁵⁴? Лишь «пустяками божественными я утешен и спасен»⁵⁵, могли бы вслед за ним признаться многие из нас.

Малое — тот мир, который сорокалетний Т.Кибиров одновременно выбирает и создает как разрешение некогда столь болезненного вопроса: «Где мне место отыскать? Где ж отдельное занять?»⁵⁶. Этот мир строится из малого и представляет собой малое. Дело не просто в том, что в этом мире тепло, уютно. Хотя и это немаловажно для человека. Т.Кибирову прежде всего существенно, что этот мир спасает, удерживает от революционных (кардинальных и глобальных) претензий воинствующего романтизма.

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно, что невозможно практически это. Но надо стараться. Не поддаваться давай... Канарейкам свернувши головки, здесь развитой романтизм воцарился, быть может, навеки. Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае — чайки. Будем с тобой голубками с виньетки. Средь клекота злого будем с тобой ворковать, средь голодного волчьего воя будем мурлыкать котятами в теплом лукошке. Не эпатаж это — просто желание выжить.

И сохранить, и спасти...
<...>

Жить-поживать будем, есть да похваливать, спать-почивать будем, будем герани растить и бегонию, будем котлетки кушать, а в праздники гусика, если ж не станет продуктов — хлебушек черненький будем жевать, кипяток с сахаринчиком.

Впрочем, Бог даст, образуется все. Ведь не много и надо тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки, как драгоценno все, как все ничтожно, и хрупко, и нежно, кто понимает сквозь слезы, что весь этот мир несуразный бережно надо хранить, как игрушку, как елочный шарик, кто осознал метафизику влажной уборки.⁵⁷

Последние четыре строки хорошо демонстрируют, что именно дом-очаг, будучи миром выбора Т.Кибирова, вобрал в себя элементы, составляющие локальный стиль поэта: восприимчивость к противоречивости и трепетное отношение к хрупкости реальной жизни.

* * *

Наконец, в заключении данного раздела хотелось бы остановиться на примере повествования, выдержанного в локальной стилистике, и при этом представля-

ющего рефлексию по поводу такого рода нарративной позиции. Повествующий в этом случае соединяет в одном лице роль практика и аналитика конкретного стиля.

Подобным образом работает, в частности, Е.Петровская. В ее текстах на себя обращают внимание два момента. Во-первых, то, что для работы широко привлекается как литературный, так и живописный материал. Подобная разноплановость показательна как признание актуальности некоторой совокупности положений, которые оказываются принципом работы в разных сферах, с разным материалом. Как представляется, эти положения имеют много общего с тем, что в данном издании определено как локальность.

Кроме того, тексты Е.Петровской отличаются особым вниманием к выбору локуса повествования, местоположения относительно объекта собственного нарратива. Похоже, Е.Петровскую интригует не только проблема-загадка конкретного объекта, но и то, какова топология его расположения. При этом Е.Петровская как бы исходит из презумпции лакун, окружающих интересующий ее объект, и убеждения, что вряд ли можно напрямую выйти к тому или иному объекту. Намного более правдоподобны окольные, обходные пути.

Так для эссе «Сцена Вермеера»⁵⁸ сознательно избирается место, оставшееся «пустым». Этот текст представляет собой *возможные* письма голландского художника, адресованные жене. Подобной достаточно нестандартной акцией Е.Петровская демонстрирует приверженность представлению об относительности любого взгляда и соответствующей множественности интерпретаций конкретного явления. Предлагая собственную трактовку живописи Вермеера, Е.Петровская фактически формулирует ряд положений, принципиальных для локального стиля.

Неслучайно поэтому тема, избранная для импровизации в «Сцене Вермеер», — тема ремесла. Автор пытается раскрыть для себя принципы работы худож-

ника. А потому именно о собственных полотнах и «ведет» Верmeer беседу с женой. Вслушаемся в эти слова, созданные Е.Петровской.

Для Вермеера творчество — пространство отношений целого и отдельных его фрагментов, но при этом не статичных отношений. Это пространство, в котором процесс доминирует над результатом — пространство динамики восприятия и последующей динамики создания полотна.

Его деятельность как художника складывается из двух процессов противоположенной направленности. Собственно письмо представляет собой нанесение мазка за мазком, из которых на полотне возникает образ. Но этому процессу Верmeer предваряет разложение объекта своей работы на компоненты. Перед нами возникает образ художника-«конструктивиста», стремящегося понять, из чего и как сложились окружающие его объекты, сцены, состояния, с тем, чтобы потом самому попытаться представить их на своих полотнах, сочетая отдельные элементы цвета, формы. Художник работает то в направлении «расчленения», то «собирания».

Отправной для Вермеера вопрос: «Как справиться с малым, растворившемся в большом?»⁵⁹. Он знает, что «мир состоит из частиц. По большей части они невидимы, но <...> бывают моменты, когда невидимое отказывается вести свое укромное существование, когда оно вспыхивает — отдельными искрами — и долго-долго потом не гаснет. Вот эти мгновения нужно ловить, удерживать, лелеять...»⁶⁰.

Руководствуясь подобными «физическими» представлениями об устройстве окружающего его мира, Верmeer тем не менее не ощущает себя в силах разложить любой процесс или объект. Например, он признается, что ему трудно это осуществить в отношении смеха, который «слишком быстр»⁶¹, или поведения детей⁶². Однако в случае света, принципиально важного для

Вермеера как художника, подобная задача удается. «Эти редкие дни, когда кажется – еще секунда, другая, и видимость не вытерпит, тронется оползнем, покроется трещинами, рассыпится в световую пыль»⁶³. Он смог увидеть, ощутить расколотость света на «мелкие крупинки», «зерна», «мельчайшие гранулы», «капли», «крошечные участки»⁶⁴. Наблюдения за «капризами дельфского солнца»⁶⁵ позволили ему обнаружить слагаемые светового потока.

Осознав, из чего и как возникает то, что принято именовать светом, Верmeer пытается писать согласно открытому им принципу. Картина пишется отдельными мазками, но состоится она, лишь если мазки удастся «организовать»⁶⁶. «...Ибо что такое лицо как не еще одно сочетание красок»⁶⁷. Так Верmeer подходит к задаче, которая является для него центральной в процессе работы: соединить фрагменты в художественное целое. Ее решение дает ему право сказать: «Я не боюсь оставлять эти бессвязные мазки, потому что они бессвязны, только если смотреть на них прямо, с небольшого расстояния, издали ты их больше не увидишь, <...> вместо них останется теплота, просто сгусток теплоты, как пар, поднимающийся утром над полем»⁶⁸. «...Стоит отступить на шаг назад <...> ты не увидишь на картинах – более налитых яблок, более прочного ковра, более мягких волос»⁶⁹.

Для Вермеера принципиален путь от фрагментов цвета и формы, предметов и фигур к Картине. Он умеет видеть «универсум значимых деталей»⁷⁰. Но собственно загадкой произведения для него является связующая нить. Он нашупывает ее интуитивно, отдавая себе отчет в том, что ей подвластно, а что нет. «...Это разные вещи, чувство и свет, и надо их держать по отдельности. <...> я могу рассказывать тебе о своих чувствах, но пишу я по-прежнему свет»⁷¹.

Если в случае с текстом о Вермеере не оставляет ощущение изумления от необычности, незаметности обнаруженного «пробела», который и заполняет философский текст, то в случае эссе о Г.Стайн⁷² лакуны оказались предопределены выбранным Е.Петровской объектом повествования — стилем письма Г.Стайн. «Стайновский сказ предельно автореферентен»⁷³, это «речь, которая <...> заговаривается в самой себе»⁷⁴, лишенная «внешней референтности»⁷⁵. «Это язык, освобожденный от господства нормы, от той «большой» грамматики, которая обеспечивает его коммуникативную роль»⁷⁶. Стилю Г.Стайн удалось обособиться в силу собственного своеобразия и тем самым лишить читателя очевидных подступов к себе. Можно ли преодолеть густую туманность, дымку, в которую Г.Стайн одела свой текст и тем самым отделила его от читающего? Е.Петровская листает книги о Г.Стайн, вновь и вновь перечитывает ее тексты. Переброшенные мостки кому-то могут показаться слишком зыбкими, но Е.Петровская не относит себя к «строителям» монументальных связей. Ей определенно даются утонченные нити повествования.

Каков же путь, по которому проводит нас Е.Петровская? Его вехами стали: живописное полотно П.Сезанна, которое было у Г.Стайн перед глазами в часы работы, единичные высказывания Г.Стайн о влиянии, оказанном П.Сезанном, замечание Р.Рильке о работах П.Сезанна, комментарий самой Е.Петровской о стилистике французского живописца, наконец, ее интерпретация повествования Г.Стайн.

Итак, «Сезанн был сам по себе — и в то же время он служил подсказкой. Он служил подсказкой в той мере, в какой он просто существовал»⁷⁷, — пишет Е.Петровская и приводит одно прямое высказывание Г.Стайн о художнике. «Сезанн дал мне новое ощущение композиции. Я была одержима этой идеей композиции... Ва-

жен был не один только реализм героев [,] но и реализм композиции. Пока я не появилась [,] это не мыслилось как реальность, но я восприняла это во многом от Сезанна. Флобер тоже имел некоторое ощущение этого [,] но никто [,] ни один из них [,] не мыслил это как реально существующее [entity,] не больше чем любой другой художник [,] кроме Сезанна»⁷⁸.

Завязка сформулирована, однако далее Е.Петровская предлагает сделать шаг в сторону. Этот шаг позволяет повествованию обрести дополнительную объемность — вводится еще один угол зрения. Звучит голос Р.Рильке: «...никогда раньше [прежде Сезанна] не было раскрыто с такой ясностью, как дело живописи совершается среди красок, как надо их оставлять совсем наедине, чтобы они могли выяснить свои отношения»⁷⁹; «[к]ажется, что каждая точка картины знает обо всех остальных»⁸⁰. Слова Р.Рильке — своего рода дополнение, расшифровка того, что было значимо для Г.Стайн в картинах П.Сезанна и что мы обнаруживаем затем в качестве принципа построения текстов американской писательницы.

Теперь, когда утонченные нити, ведущие к текстам Г.Стайн, обозначены, следующий шаг — попытка вплести эти нити в ту часть рассказа, которая касается непосредственно литературного стиля Г.Стайн. Точнее, попытка использовать их как основу-каркас для создания последующего повествования, которое фактически развивает три темы: элементы (точки) произведения, отношения между ними и собственно произведение. Все три момента, как узнаем мы от Е.Петровской, принципиальны для Г.Стайн, принципиальна их связь, и при этом акцент делается на среднем звене — отношениях, которые динамичны, изменчивы и соответственно множественны⁸¹.

Отношения между словами и предложениями «скользящие»⁸², они «не застыают, не прекращаются ни на секунду»⁸³ — «это целый мир друг друга подкрепля-

ющих взаимодействий, чья скорость не позволяет им охладить свой пыл, отвердеть и остить, окончательно оформившись в иерархизированную целостность, тут же находящую для себя опоры в виде центра, глубины, границ»⁸⁴. «Композиция <...> является системой отношений. <...> далее начинается игра этих отношений, дальше, по Стайн, начинаются их «истории», а «истории», как мы знаем, невозможно по-настоящему остановить, — короче, дальше начинается то, что живет по- постоянными переходами, что переливается, вспыхивает и затухает, оставляя живые мерцающие следы и для чего так трудно подобрать название»⁸⁵.

Делая ставку на динамичных отношениях, Г.Стайн сочетает интерес к элементам, составляющим произведение, и к их объединениям. Скользящие отношения — это та тема, которая позволяет балансировать между своеобразием частного и его неотчужденностью от иного. Это тот ракурс, который высвечивает фрагментарность во всем ее богатстве и при этом не мумифицирует, а оставляет дышащей.

В отличие от «Сцены Вермеера» данное эссе не столько о пути от детали к произведению, сколько о множественности отношений, в которые фрагменты последнего вступают между собой. Творчество П.Сезанна, как его воспринимает Г.Стайн, и ее собственные работы характеризует повышенная озабоченность отношениями между деталями, из которых складывается произведение. Интерес к отношениям малого — интерес собственно к малому. Акцент на богатстве, многообразии отношений элементов указывает на потенциал мира малого. Динамизм отношений — возможность, привносящая самоценными частицами.

Думается, именно через темпераментную включенность, приверженность отдельных личностей конкретному стилю удается особенно отчетливо услышать

объективные общественные тенденции. Только не стоит при этом забывать, что стиль существует как социальная позиция наряду с иными, контрастируя на их фоне. Стиль выразителен в той мере, в какой он не тотален.

ЛОКАЛЬНОСТЬ И СОЦИУМ

Маленькое мое счастье
В четырех стенах
Из четырех рук
Не уцелеть Тебе...

Артем Киракосов

При обращении к феномену локальности на уровне социума в центре внимания оказывается, в частности, вопрос об отношении к многогибкости, дифференцированности общественной реальности. Сам по себе факт плюральности социальной реальности никем не ставится под сомнение. Проблема же, относительно которой нет общепринятого понимания, состоит в следующем: как расценивать конкретные формы сосуществования «социальных языков» (систем представлений, практик повседневной жизни, материальных и идеальных результатов жизнедеятельности), ведь формы общественной организации значительно различаются по степени подавления, ущемления качественного своеобразия социальных субъектов? Будучи нагружена немалым этико-политическим смыслом, эта проблема сегодня является предметом серии социально-философских дебатов.

Сторонники одной позиции считают, что разрозненность многочисленных «социальных языков», одновременно циркулирующих в обществе, представляет серьезную помеху эффективному функционированию

социальной системы, а потому необходимы общесоциальные принципы регламентации деятельности различных субъектов, входящих в системное образование. Представители другой точки зрения полагают, что попытки обнаружения либо выработки некоего общего, всеми разделяемого принципа существования есть ни что иное, как насилие над естественным состоянием каждого отдельного социального субъекта.

Две названные позиции нередко рассматриваются как находящиеся в отношениях противостояния. И та, и другая связана с именами мирового уровня (первая, в частности, с именем Ю.Хабермаса, вторая – Ж.Деррида). Взгляд со стороны позволяет заметить, что каждый из подходов решает собственную специфическую, однако в равной мере актуальную задачу. Именно так полагает Р.Бернстайн, усматривая между названными подходами отношение взаимодополнительности.

«“Проблема” Другого столь же фундаментальна для Хабермаса, как и для Деррида, – отмечает Р.Бернстайн. – Хабермаса в первую очередь интересует персонифицированный Другой, фигурирующий в акте коммуникации <...>. Деррида обычно сосредоточивается на способах, с помощью которых Другой избегает взаимопонимания, и предлагает позицию <...>, с которой можно подвергнуть сомнению попытку ассимиляции, управления Другим. В то время, как Хабермас подчеркивает обоюдность, симметрию, взаимное признание, Деррида сосредоточивается на необоюдности, асимметрии и промахах во взаимном признании»⁸⁶.

В социуме фактически имеют место как случаи продуктивной организации взаимодействия (для Ю.Хабермаса это в первую очередь коммуникация), так и его отсутствия, обрыва⁸⁷, вплоть до негативных последствий. Оправдан анализ и того, и другого как в равной мере реальных. Каждый тип анализа преследует свою цель: в первом случае – «конструирования» желаемого, во вто-

ром – предупреждения о возможных проблемах. Тем не менее предмет одного подхода в некотором смысле предполагает признание факта существования другого. Предпринимающий усилия, направленные на то, чтобы коммуникация состоялась, отдает себе отчет в реальности преград и препятствий. В свою очередь предупреждающий об опасностях, которые может нести коммуникативный акт, а также о том, что ему может мешать, «по умолчанию» подразумевает акт коммуникации как нечто реальное.

Взаимодополнительность двух подходов Р.Бернстайн усматривает в том, что каждый из них представляет одно из бытующих в обществе мнений. Ю.Хабермас «с упорной настойчивостью <...> стремится сохранить живыми воспоминание/обещание и надежду о мире, где справедливость, равенство и диалогическая рациональность получают конкретное воплощение в повседневных практиках». Одновременно Ж.Деррида одержим мыслью о «фрагментах, осколках и трещинах, которые разрывают «плавные» исторические континуальности». Он подчеркивает факт «разнообразия друговости», «инаковость инаковости». По мнению Р.Бернстайна, для Ж.Деррида принципиален вопрос: «Как мы можем надеяться на открытость и ответственную реакцию на террор в отношении инаковости и единичности Другого?»⁸⁸.

Итак, Р.Бернстайн пытается сделать два названных подхода предметом той задачи, которую они, каждый по-своему, стремятся решить. В частности, Р.Бернстайн напоминает, что к специфическим чертам современной социокультурной ситуации относится все более и более явный выход на первый план логики дополнительности, в основе которой лежит принцип «оба/и», по сравнению с логикой стабильных бинарных оппозиций, строящейся на принципе «либо/либо». По сути своей оба названных принципа базируются на призна-

нии плюральности социальной реальности. Но в случае принципа «либо/либо» вслед за подобным признанием предполагается осуществление выбора в чью-либо пользу, а значит, в ущерб остальному. Таким образом, плюральность в конечном счете лишается основания, так как наступает «единоличный диктат» чего-то (либо кого-то) одного. В случае же принципа «оба/и» имеет место процесс сабирания, увязывания различий, который самим фактом перечисления того, что связывает, воспроизводит социальную плюральность в нередуцированном виде.

Естественно, что принцип «оба/и» схематичен, и тем не менее он лаконично выражает ту самую формулу социальной организации, которая могла бы в некотором смысле удовлетворить сторонников и «принудительного примирения», и «радикальной дисперсии»⁸⁹. Под ее шапкой на самом деле могли бы найти себе место многие из аргументов обоих подходов. Некоторая же абстрактность этой формулы предоставляет свободу для различных вариантов ее воплощения.

Среди имеющихся место сегодня конкретных принципов, обеспечивающих социальную целостность и одновременно гарантирующих сохранение плюральности, стоит отметить временные контракты, которые, по наблюдению Ж.-Ф.Лиотара, вытесняют «постоянные институты» в самых разных сферах общественной жизни⁹⁰. Временные контракты – формы взаимодействия, которые не сковывают социальную активность своих участников. Никакой из социальных субъектов при этом не монополизирует общественные связи другого субъекта. За структурными образованиями остается право на расторжение уже сложившихся отношений, а также поиск и вступление в альтернативные.

Характеризуя нынешний исторический момент, нельзя не упомянуть, что в арсенале критиков «техники» социального единения накопилось немалое число ре-

альных фактов, подтверждающих их позицию. В предисловии к английскому переводу книги Ж.-Ф.Лиотара «Постсовременное состояние» Ф.Джемисон отмечает, что имеет смысл говорить о двух ключевых модернистских мифах-повествованиях, которые некогда обладали внушительной интеграционной силой, а сегодня стали объектами опровержения⁹¹.

Один из них оперирует принципами справедливости, равенства, эманципации, другой – научности, рациональности, истины. И в том, и в другом случае ставка делается на Абсолют. Так решается задача всеобщего приобщения к провозглашаемым идеям и утверждается их всеохватность. Один вариант претендует на равное выражение чаяний всех субъектов общества, другой – на предоставление решений-рецептов, опирающихся на истину и в силу своей особой эффективности всегда и везде применимы. Будучи представлены в качестве ориентиров, критериев легитимации, эти мифы легко воспроизводимы и на уровне идеологии властных структур, и в непосредственной повседневной практике взаимодействия социальных субъектов.

Отказ от типа социальной сборки, базирующегося на двух названных мифах, прежде всего вызван тем, что последние оказались взорваны изнутри. Так рационалистически-сциентистский миф, строившийся в значительной мере на принципах развития классической науки Нового времени, не смог совладеть с натиском со стороны нарождающихся научных дисциплин. Последние ускользают из-под власти некогда единого языка, в котором прежде для любой научной области задавались и цели, и нормативы, и критерии оценки результатов. Развивая образ, предложенный Л.Витгенштейном, Ж.-Ф.Лиотар отмечает: «Новые языки добавляются к прежним, образуя пригороды старого города. <...> никто не говорит на всех этих языках, для них не существует универсального метаязыка, <...> мы все завязли в по-

зитивизме той или иной области знания, <...> сузившиеся задачи исследования оказались обособлены (have become compartmentalized), и никто не может справиться с ними со всеми одновременно»⁹². Кризис «единства» внутри научного знания явился серьезным препятствием для некогда распространенного переноса пронавучных форм легитимации на иные области общественной жизни.

Что касается мифа о равенстве, то здесь был осознан потенциал насилия, содержащийся в нем. Ибо выдвижение лозунга унификации прав самых разных социальных образований нередко выливается не просто в пренебрежение специфичностью конкретного субъекта, но практику приведения инаковости в соответствие с представлением об идеале общественного жизнеустройства. К этому следует добавить, что всякий идеал в действительности провозглашается с позиций определенной общности – как бы она ни пыталась защищать свои пристрастия, как бы ни казалось ей, что она оперирует всеобщими критериями, принципами – и фактически используется в виде рычага власти. Никому в социуме в принципе не дано выработать беспристрастного и всеохватывающего взгляда. В этом смысле уместно вспомнить слова Р.Рорти: «...любая попытка припереть оппонента к стене <...> терпит крах, если эта стена рассматривается как еще один словарь в ряду других, как еще один способ описания вещей. Тогда стена оказывается рисованной кулисой, еще одним творением человека, еще одним фрагментом декорации культурной сцены»⁹³.

Помимо сказанного названные мифы к настоящему времени продемонстрировали оборотную сторону идеи о роли мощных социальных скреп в качестве средства, уравновешивающего разнонаправленность социальных структур и гарантирующего слаженное функционирование социальной системы. Сегодня очевидно, что общество, внутренне разными способами жестко скрепленное, не только отличается высокой степенью репрессивности, но кроме того не способно на мягкие

модификации. Оно либо не реагирует на требования времени и ситуации, либо отзыается революционными преобразованиями, «большими скачками». Ярким примером в этом смысле стало советское общество, некогда столь стабильное или, точнее, стабильность которого столь тщательно оберегалась, не в последнюю очередь с помощью названных мифов. В конце 80-ых гг. оно оказалось в состоянии, которое, используя терминологию Б.Грушина, можно определить как «социотрясение». Перестройка для страны явилась обвалом несущих опор. Трудно не согласиться с мыслью М.Эпштейна о прямой связи между советским обществом 30-ых гг. и событиями периода перестройки. Он приводит слова из речи 1936 г. Ю.Олеши: «У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии». И вот в 1992 г., читая прессу эпохи гласности, М.Эпштейн поражается ее необычайно единой тональности – но теперь уже взволнованно-невротической: «...в России все факты связаны круговой порукой, символическим соответствием, <...> все явления намекают друг на друга, как в притче или анекдоте, – пишет он. – И теперь, когда макет разваливается, он делает это по тем же стыкам и швам, по которым и собирался, только нравоучение идет в обратную сторону, вызывая не восторг, а ужас»⁹⁴.

Хочется надеяться, материал данного раздела показал, что проблема локальности на уровне социума – в значительной мере проблема сборки, проблема принципов построения социальных систем, совокупных социальных образований.

В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК ПРИНЦИП ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Поеживаясь от тоски
и холода, все ж не улетаем –
наш воздух бережно латаем,
тобой разорванный в куски.
Нашептываем, говорим,
поем, выкрикиваем, плачем,
в окошках желтеньких маячим
да латки новые кроим.

Константин Гадаев

Мы сегодня – уже не те, что были до 1985 г. И дело не только в вечно бегущем времени. Мы живем в стране иных масштабов. А еще каждому представилась возможность ощутить ценность реальности, обозначаемой местоимением «я». Случившийся сдвиг социальной размерности непосредственно связан с тем, что прежние формы социальной интеграции на просторах нашей страны утратили свой былой потенциал. Некогда непоколебимые пирамиды власти, всемогущие «центры» с колossalным диапазоном и интенсивностью влияния стали давать изрядное количество сбоев в работе. Массивные социальные строения, опутываемые все новыми и новыми трещинами, в конечном счете распались на отдельные фрагменты.

Однако проблема общественной сборки от этого не перестает быть менее актуальной для российской реальности, чем проблема партикулярной самостийности. Как оказывается, разрыв между ними вполне преодолим. Пример дискуссии, связанной с поиском общенациональной идеи, показывает, что интеграция *может строиться* на принципе локальности.

Чем любопытен этот пример? В августе 1996 г. российский президент обращается к согражданам с предложением определиться по вопросу национальной идеи для страны. При этом власть отказывается от соблазна выработки принципов духовной целостности в своих кулуарах, напротив, всячески поддерживает общественное обсуждение данного вопроса. Иными словами, мы имеем дело с фактом официального признания необходимости общеноционального единения при осознании, что любые попытки осуществить интеграцию «сверху» в России сегодня обречены.

Поведение власти представляется релевантным реальному состоянию российского общества. В настоящее время налицо мировоззренческая расколотость населения, обусловленная разной степенью адаптации к изменившимся общественно-экономическим отношениям, равно как и неоднозначным воздействием проходящих реформ на различные социальные сферы и регионы страны. Власть не была бы властью, если бы не отдавала себе отчет в том, насколько высок дестабилизирующий потенциал общественной дезинтеграции. Вместе с тем российское руководство соизмеряет свои действия с текущим положением вещей, оно понимает, что интеграция ныне может состояться лишь в той мере, в какой этого захотят граждане страны, которые (и это замечание принципиально) ощутили ценность частного начала.

Похоже, власть понимает, какой именно интеграции опасается население, чему, собственно, говорится «нет». Самое общее наименование источнику этого страха – идеология. Присмотревшись к прилагательным, сопутствующим понятию «идеология», мы обнаружим такие: «государственная» (а это уже противоречит Конституции РФ) (П. 1-4), тяготеющая «к тоталитарности и вширь и вглубь» (I. 0-11), «единая и классовая» (П. 4-11). «Идеологические скрепы» пугают, ибо они отождествляются с «желез-

ной крышкой государственного единомыслия» (I. 0-10), с принуждением «всем ходить строем и петь одну песню» (I. 0-2), с попыткой «впрячь в одну упряжку коня и трепетную лань» (I. 0-6), навязать «единый проект» (II. 1-4)⁹⁵. Итак, страшит интеграция уравнивающая, лишающая «лица», та, что еще жива в памяти людей этой страны. Существует ли для России сегодня альтернативная форма интеграции?

Анализ материалов развернувшейся в прессе дискуссии по национальной идеи показывает, что имеет смысл различать такие две составляющие общественной интеграции, как предмет (объединяющее содержание) и собственно процесс интеграции. В социалистическом прошлом страны успешно практиковалось единение «под сенью» нормативов, автором которых была «руководящая и вдохновляющая сила общества». Процессуальный момент тогда был вторичен по отношению к содержательному – предмет интеграции задавался обществу, и рядовому гражданину оставалось лишь, откликаясь на ту или иную Идею, ощутить свою причастность ей.

Сегодня наряду с крушением идей определенного толка нарушилась некогда устойчивая последовательность, активно использовавшаяся властью: от провозглашения предмета интеграции к поддержке процесса единения. Дело в том, что в современном российском обществе отсутствует место, если угодно, Олимп, с которого можно было бы вещать общенациональную Идею (А.Рубцов). Произошел подрыв претензий на исключительное знание и право сплачивать общество. Но отказ от кому-то известных ответов не означает утрату обществом чувствительности к проблемам, требующим осмысления, разрешения, к лакунам, которые желательно было бы заполнить. И вдруг оказывается, что интеграция может происходить уже на пути к интегративной идеи – в ходе ее поиска. При этом между процессом

общественного отклика на готовую, «спущенную» объединяющую Идею и ее совместным поиском существует принципиальное различие. Участники последнего включаются в общее мероприятие как самостоятельные субъекты. Содержание привносится ими, это сила каждого из них, а не сила, которая может кем-то быть использована для подавления их как личностей.

В то же время для того, чтобы субъективное содержание стало компонентом «коллективного» мероприятия, желание участвующих внести свою лепту должно быть подкреплено реальными объединяющими процедурами, например, дискуссией.

Дискуссия объединяет по меньшей мере тем, что создает пространство для общего разговора, где происходит презентация различных точек зрения и обмен ими. Поле дискуссии – поле встреч. Но даже будучи настроен на открытие чужого мнения, оглашение своего собственного, не во всяком пространстве человек ощущает себя достаточно комфортно, чтобы реализовать подобное намерение.

И в этом смысле включенность в ход дискуссии по национальной идеи как демократических, так и оппозиционных изданий фактически расширяется пространство обсуждения, а соответственно и участие представителей различных политических ориентаций. О реальном существовании некоторого общего поля дискуссии-поиска национальной идеи для нынешней России говорит, в частности, тот факт, что демократические издания нередко дают возможность высказаться в связи с данной проблемой представителям левых взглядов, а мнения, например, А.Солженицына, В.Расputина, Г.Зюганова можно встретить и в оппозиционных, и в демократических изданиях.

Страницы различных органов печати являются лоскутами, составившими обширное пространство дискуссии. В это пространство «вступают», желая поделиться

своей точкой зрения, политики, обществоведы, рядовые граждане. Думается, интеграция как процесс, объединяющий желающих внести свою лепту, состоялась.

О характере этого процесса позволяют судить, в частности, типы позиций по отношению национальной идеи, которые удалось выявить в рамках проекта «Россия в поисках идеи».

Анализ мнений о национальной идее (НИ), представленных достаточно репрезентативным рядом изданий демократической и оппозиционной ориентации за период с 09.1996 по 06.1997, позволил выделить следующие четыре группы позиций.

Группа А.

Позиции озабоченности вопросом «Быть или не быть НИ?»

Противники НИ

Сторонники НИ

Принимающие НИ с оговорками

Группа Б.

Позиции озабоченности вопросом «Каково содержательное наполнение проблемы НИ: какова ее природа, с какими аспектами общественного бытия она связана, каков статус и локус этой проблематики?»

НИ как вопрос политической борьбы

НИ как умозрительная проблема, в т.ч.:

* позиция «историка»

* позиция «международника»

* позиция «сторонника междисципл. подхода»

* позиция «гражданина-обывателя»

НИ как компонент повседневной жизни

Группа В.

Позиция озабоченности вопросом «В какой мере НИ из самодостаточной проблемы превращается в содержательный элемент более широкого контекста?»

НИ в рамках более общего контекста

Группа Г.

Позиции трактовки НИ как идеи особости России

Особость России, в т.ч.:

***акцент на положительной стороне российской особости**

***сбалансированная позиция**

Ниже приводится таблица встречаемости каждой из позиций в обработанном массиве точек зрения. Абсолютные значения оказались легкими для сравнения: в прессе демократической ориентации общее число мнений о национальной идее во второй период сократилось приблизительно в два раза и оказалось достаточно близким общему числу мнений в оппозиционной прессе за все 10 месяцев анализа дискуссии.

Позиции	Демократическая пресса 09.96–01.97	Демократическая пресса 02.97–06.97	Оппозиционная пресса 09.96–06.97
1	2	3	4
Противники НИ	8	2	0
Сторонники НИ	4	3	6
Принимающие НИ с оговорками	2	7	0
НИ как вопрос политической борьбы	2	5	31

1	2	3	4
НИ как умозрительная проблема, в т.ч.	73	33	13
*позиция «историка»	2	4	12
*позиция «международника»	4	4	1
*позиция «сторонника междисципл. подхода»	35	11	2
*позиция гражданина-обывателя»	32	14	8
НИ как компонент повседневной жизни	8	11	1
НИ в рамках более общего контекста	7	10	3
Особость России, в т.ч.	17	7	13
*акцент на положительной стороне российской особости	2	1	4
*сбалансированная позиция	15	6	9
Общее число мнений	121	78	67

Сравнение показателей групп Б и Г с группой А подтверждает, что среди имеющих личное мнение относительно национальной идеи значительное большинство не ограничилось эмоциональной оценкой (хороший/плохой, полезный/вредный) данного социального конструкта, а включилось в процесс осмыслиения содержания национальной идеи. При этом хотя традиционная для дореволюционной России интерпретация национальной идеи как “особость России” сохраняет свою актуальность (естественно, с привлечением нового материала), тем не менее такая трактовка не охватывает всего содержательного пространства, ныне увязываемого с проблематикой национальной идеи. Думается, это дает право говорить о заинтересованном и творческом отношении россиян к данной проблеме.

Несмотря на низкие показатели, характерные для группы А, имеет смысл обратить внимание на некоторый сдвиг в демократической прессе от позиции “противников НИ” в сторону позиции сторонников взвешенного подхода, а также на непроявленность какой-либо позиции, кроме “сторонников НИ” в оппозиционной прессе. Очевидно, что “сторонники НИ” и “принимающие НИ с оговорками” – реальные и потенциальные участники процесса поиска национальной идеи. Еще более принципиальны высокие показатели включенности сторонников “междисциплинарного подхода” и “граждан-обывателей” в данный процесс на страницах демократических изданий, а также частое использование этого сюжета в политических целях на страницах оппозиционных изданий – свидетельство втянутости в орбиту дискуссии широких слоев населения. Все это позволяет говорить о том, что интеграция на уровне процесса поиска национальной идеи идет полным ходом.

Более того, если А, Б и В рассматривать как три группы последовательно передающих друг другу проблематику национальной идеи, то можно сказать, что

последняя постепенно становится для россиян чем-то само собой разумеющимся. Позади остаются дебаты о том, имеет ли она право на существование; подробно проанализированы различные ее аспекты и вот уже к национальной идеи обращаются при решении иных вопросов как к одному из общепризнанных фактов, не требующих ни специального разъяснения, ни обоснования. Сам факт отсутствия общепризнанной формулировки национальной идеи и при этом оперирование данным понятием, отсылка к нему как к чему-то понятному для многих свидетельствует о том, что национальная идея как некое интегративное начало уже инкорпорирована в общественную жизнь россиян.

Говоря о наметившемся интегративном процессе, нельзя сбрасывать со счетов то, насколько проблематика национальной идеи политизирована в изданиях оппозиционной ориентации. Данный факт обладает значительным дезинтегрирующим потенциалом. И все же, думается, можно утверждать, что вопреки пессимистическим прогнозам в нынешнем российском обществе кристаллизуется достаточно отчетливая интеграционная тенденция.

Небезынтересным в этой связи представляется опыт документального отражения данного консолидирующего события. Издательско-аналитический проект «Россия в поисках идеи» — попытка воздать должное частному усилию отдельного конкретного россиянина в общегражданском мероприятии. Участники данного проекта ставили своей целью апробировать в рамках издания отдельные интегративные стратегии, которые при всем своем консолидирующем потенциале гарантировали бы сохранность частного начала — частного мнения.

В проекте были совмещены две стратегии такого рода. Одна из них — рядополагание, позволяющее передать какофонию, присущую современной России, воспроизводящее многообразие звучащих точек зрения.

Другая стратегия – каталогизация – дифференцированная сборка по тому или иному основанию однопорядковых элементов, предполагающая предварительную декомпозицию существующих содержательных комплексов (мнений участников дискуссии).

Названные стратегии задумывались как методологический принцип работы с частным началом. Естественно, в ходе проекта они подверглись соответствующей проверке собственно содержанием, которым участники дискуссии стремятся наполнить новую национальную идею. Дело в том, что если бы мнения не отличались вариативностью, то в перечисленных стратегиях не было бы особого смысла. С другой стороны, если бы все точки зрения жестко делились по какому-то одному основанию (например, сторонники/противники мероприятия поиска национальной идеи или возрождения классической трактовки русской идеи), возможности этих стратегий были бы реализованы лишь частично. Между тем в ходе дискуссии сложилось два заметных блока мнений, которые во многом согласуются с представленными выше интегративными стратегиями.

С одной стороны, в высказываниях о национальной идее достаточно часто фигурирует отсылка к таким ценностям, как российская история, культура, литература. Особенность этих ценностей в том, что они открыты для частных интерпретаций. Унифицирующая трактовка, как правило, приводит к значительному их упрощению, сужению, обеднению. Эти ценности живы постольку, поскольку существует многообразие их интерпретаций, «способов проживания», индивидуальной приобщенности к ним. Вероятно, именно эта интерпретативная широта и делает их привлекательными и по этой же причине они, будучи значимы для немалого числа людей, являются внушающим доверие основанием для общественной интеграции. Но с одной оговор-

кой: лишь до тех пор, пока не дает о себе знать практика, при которой какой-либо из трактовок отдается предпочтение в качестве лучшей. Бессспорно, для кого-то множественность трактовок представляется желательным моментом в принципе, а для кого-то малопривлекательным. И все же применительно к истории, культуре и литературе многообразие интерпретаций можно считать общепризнанным фактом, ведь в противном случае эти ценности превращаются в некий фетиш.

Другая группа мнений о национальной идеи, представляющая интерес в контексте обсуждаемой проблемы, напротив, связана с моментами сугубо личного свойства. В этом случае люди выражали желание поделиться собственным опытом, приводили примеры из частной жизни. Национальная идея воспринимается ими как имеющая отношение не к чему-то абстрактному, а к повседневному существованию конкретного социального субъекта, будь то личность или некоторое сообщество. За позицией такого рода уже успела закрепиться характеристика «локальное обустройство» (см. приложение 2, текст А.Рубцова), или подход с точки зрения «малых дел». Установка подобного рода дает шанс каждому разрабатывать проект, касающийся собственной судьбы, не посягая при этом на пространство бытия других. Акцент на малых делах представляет собой вполне конкретную гражданскую позицию, предполагающую ответственность за то, что на первый взгляд может показаться незначительным, но что если не ты, то никто другой не сделает, в сочетании с уважительным отношением к начинаниям других.

Думается, и для позиции, базирующейся на ценностях истории, культуры, литературы, и для локально ориентированной установки адекватна интеграция, основанная не на слиянии различных мнений и выработке некоего всеобщего положения, а скорее на стратегиях, обозначенных выше как рядополагание и каталоги-

зация. Последние позволяют разным точкам зрения одновременно присутствовать, уживаться в рамках одного издания, чем-то напоминая энциклопедию, где каждую статью отличает самодостаточность и при этом издание в целом представляет интерес много- и разнообразием объединенных под одной обложкой статей.

В поддержку названных двух стратегий говорит и еще один факт, он же выступает дополнительным аргументом в пользу отношения к этим стратегиям как к своего рода общесоциальному принципу. Дело в том, что палитра бытующих среди россиян точек зрения по поводу содержания национальной идеи, как оказывается, очень богата. При ближайшем знакомстве с ними складывается ощущение, что объединить все многообразие трактовок национальной идеи, соответствующей сегодняшнему состоянию России, способно не какое-то одно самое лучшее представление или сумма таковых, а скорее принцип — принцип *со-бытия* частного. Этот принцип оставит за каждым субъектом право быть самим собой, равно как право на самосовершенствование, но лишь в тех пределах, которые не ущемляют аналогичное право других. Думается, суть национальной идеи, приемлемой для России конца ХХ в., — гарантия частного права людей, живущих рядом, которые благодаря этому обретают ощущение гражданского единения. Иными словами, национальная идея сегодняшней России представляет собой в большей мере ответ не на вопрос **что**, а на вопрос **как**, выступая в роли операционального принципа общественной интеграции.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЛОКАЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Слово «перламутровый» катится как волна, <...>, в нем заключена акварельная пестрота и игра световых плоскостей как в поворачиваемой раковине.

Я знаю, что последовательности не последовательны, что с ними можно войти в сговор.

Maria Arbatova

Разные люди по-разному относятся к «своему» времени – к тому отрезку истории, на который пришлась их жизнь. Одни предпочитают абстрагироваться от по-вседневности и отдают предпочтение вопросам вечным, другие – полагают, что сиюминутное имеет право на серьезное к себе отношение. В свою очередь те, кто настойчиво откликаются на риторику конкретного момента и места, демонстрируют в отношении нее стратегии самые разные. Из того, как личность строит диалог с реалиями, составляющими ее непосредственное окружение, можно узнать немало о ее собственных склонностях, пристрастиях, качествах характера. Вместе с тем, если совместить представления людей, руководствующихся разными установками об одних и тех же реалиях, это может дать объемный образ конкретного социального явления. Именно с этой целью и была предпринята попытка проследить, как воспринимается феномен локальности, как с ним работают Ю.Мамлеев, Р.Рорти, З.Бауман, принадлежащие разным культурам, занимающиеся разной профессиональной деятельностью.

Начать имеет смысл с позиции, которая фиксирует феномен локальности. Презентирующую функцию выполняют, в частности, литературные тексты. Конечно, в них не найти анализа природы явления, обоснования его свойств или аргументов в пользу той или иной его оценки, а само оно предстает лишь как отдельный частный случай. Однако именно присутствие субъективного, личностного начала играет не последнюю роль в рельефности художественной презентации соответствующего явления.

В данном случае хотелось бы остановиться на небольшом прозаическом тексте Ю.Мамлеева «Многоженец»⁹⁶, в котором автор знакомит нас с фрагментарностью человеческого чувства.

Зная, какую боль это доставляет близкому человеку, герой Ю.Мамлеева тем не менее никак не может совладеть с расколотостью чувства любви к жене. Облик его жены, собственное поведение, стиль отношений между супругами распадаются в сознании героя на четыре совершенно разных плана, периодически сменяющие друг друга. В одном из этих планов-миров живет жена, именуемая Горячей, во втором – Холодной, в третьем – Сонной, в четвертом – Полоумной. Дискретность миров подчеркивается не только их резкой контрастностью, но и пустотой между ними. «...Я никак не могу протянуть между ними нить. Между ними – одна пустота, провал», – делится с нами герой⁹⁷. Подобные паузы настолько явны, отчетливо ощущаемы героем – «[б]ледное солнце пустоты всходило», «[л]егкие тревожные укусы пустоты чувствую»⁹⁸, – что ему начинает казаться, будто пустота есть еще одна «разновидность», «одна из форм» его жены.

Герой связывает множественность миров, в которых ему приходится находиться, с силой собственного воображения. Это оно «накладывает отпечаток» на предметы в его квартире, оно же творит и мир за окном.

«До свидания, вещи!» — прощается «отчужденный человек»⁹⁹. Еще более тягостным оказывается то, что его воображение не желает довольствоваться внешним миром и превращает его самого в объект перманентных трансформаций, принося мучения обоим супругам. Но вот наступает момент, когда герой решает мобилизовать всю свою волю для того, чтобы покончить с тягостной множественностью, заявляя: «Хватит, у меня не сумасшедший дом»¹⁰⁰.

Увенчается ли данное усилие успехом? На самом деле героя терзает воображение, а не стремление опереться на нечто целостное, однозначное, кажущееся столь спасительным? В множественности герой усматривает утрату реальности. А что если реальный мир всегда реализует себя во многих лицах, и мы лишь тешим себя иллюзией целостности, упрямо пытаясь жить согласно ей? Ощущение «отчужденного человека», будто с ним происходит нечто «чудное», а сам он «существо странное» — не следствие ли это всего-навсего подобной иллюзии, по какой-то причине вытесняющей вполне объективное, органичное в зону бессознательного?

Ю.Мамлеев заканчивает рассказ многоточием, оставляя перечисленные вопросы открытыми — тем самым предоставляя возможность читателю самому в них разобраться. И все же, думается, в ненавязчивой манере ответы Ю.Мамлеевым подсказаны. Если воображение столь могущественно, вряд ли его функцию следует связывать лишь с дроблением. Конечно, не все фазы нашего фрагментарного мира чувств привлекательны, но сама их множественность вполне реальна. Ю.Мамлеев намекает, что не воображение следует обуздвать, а стереотипные оценки его деятельности — его «любомногообразия».

Почему Ю.Мамлеев избрал подобную, в некотором смысле робкую форму представления феномена, напоминающего тот, что в данной работе определяется как

локальность? Возможно, потому что понимает, насколько сильны стереотипы целостности, как мешают они признанию факта локальности. С другой стороны, сама локальность столь глубоко укоренена в человеческой природе, что приоткрывать миру эту «интимную» реальность допустимо лишь в достаточно сдержанной манере.

Однако о локальности заявляют и с большей определенностью. Показательны случаи, когда она выступает предметом сознательного выбора наших современников, при этом обретая дополнительную подсветку. Обычно такой подсветкой выступает аргументация личности в пользу собственного выбора. Случается и так, что последний становится для человека жизненным кредо.

Выразительным примером в этом плане представляется позиция Р.Рорти. Сразу следует оговорить, что американский прагматист практически не использует в своих текстах термина локальность, отдавая предпочтение таким понятиям, как историчность, контекстуальность, случайность, предельность, темпоральность, хрупкость. Однако чем, как не синонимичными рядами они являются для локальности? По сути, локальность — лейтмотив работ Р.Рорти.

Аргументы, которые можно обнаружить у Р.Рорти в пользу локальности, — это аргументы профессионального философа. Американский прагматист связывает локальность с нынешним этапом в истории философской мысли, который, используя его терминологию, можно определить как метафилософский¹⁰¹. Р.Рорти полагает, что в настоящее время существенно подорван былой статус эпистемологии и метафизики. Процесс познания при этом перестает быть нацелен на выявление истины, приближение к сущности, глубинной природе вещей. Универсалы утрачивают самоценность, а апелляция к абсолютам не воспринимается как серьез-

ный способ аргументации. По мнению Р.Рорти, все более отчетливо звучит мотив, что ничему не дано быть вечным и неизменным, свободным от детерминированности конкретным историческим контекстом и застрахованным от воздействия случайностей.

Любопытно, что проблематика локальности возникает на страницах работ Р.Рорти не только в связи со сдвигами в философских приоритетах, но и в связи с сегодняшним статусом философии. Лишенная метафизической устремленности, философия более не возвышается над специальными дисциплинами в качестве обладательницы априорного знания, не занимает привилегированного места в культуре. Указывая на все более отчетливо выраженный поворот от теории к повествованию, Р.Рорти склонен считать философа представителем одной из литературных традиций¹⁰². Здесь американский прагматист делает еще один шаг: литературно-художественное повествование рассматривается как аналог жизненного пути конкретной личности. И вот, хочет он того или нет, локальность предстает в работах Р.Рорти уже не только как категория, принадлежащая исключительно философской системе координат, но и как элемент внутреннего мира личности.

В текстах Р.Рорти о Ф.Ницше, М.Прусте, М.Хайдеггер, В.Набокове, Ж.Деррида бывает подчас трудно провести грань между тем, где кончается обсуждение вопроса о стратегиях философствования и начинается разговор о жизненных установках личности. Р.Рорти – страстный приверженец локальности и в ее ипостаси перспективного направления развития философской мысли, и в ипостаси достойного способа структурирования личной судьбы.

Американский прагматист не просто фиксирует локальность как некий факт, но верит в данный феномен, связывает с ним надежды как философ и как человек. Для него очевиден потенциал, присущий ло-

кальности, и ему очень хочется видеть его востребованным. Не в последнюю очередь поэтому его тексты насыщены полемикой, в них, как правило, присутствует оппонент, с которым Р.Рорти не устает спорить.

Тема локальности прописывается Р.Рорти в нескольких планах. И при этом планы взаимопересекаются, поддерживая, обосновывая друг друга. Принцип комплиментарности, созвучный локальности, характерен для структуры корпуса текстов американского прагматиста — он нередко тасует планы—контексты, в которых так или иначе фигурирует локальность. Коль скоро цель данного раздела — представить отношение Р.Рорти к локальности в принципе, эти планы будут перечислены лишь тезисно, демонстрируя в первую очередь тот диапазон вопросов, который Р.Рорти связывает с рассматриваемым феноменом.

— Онтологически все в реальности предельно, конечно, ограничено в пространственно-временном плане и в этом смысле — локально; мир постоянно меняется, обновляется;

— всякое представление других о нас обусловлено конкретным контекстом и является частной точкой зрения, одним из мнений;

— случайность любого чужого взгляда дает право каждому на личную автономию, в т.ч. при выработке частного (идеосинкритического) словаря построения своего образа-Я;

— самоописание носит относительный характер и на протяжении жизни личность осуществляет периодическую саморедескрипцию;

— самосовершенствование имеет смысл ограничивать рамками приватного пространства — малым — во избежание нарушения свободы других;

— чуткость к деталям страдания другого — реальный способ солидарности с ним.

Наряду с разветвленной сетью аргументов, приводимых Р.Рорти в пользу объективно возросшего статуса локальности, ее эффективности (не будем забывать, что мы имеем дело с представителем прагматизма), а также увязкой локальности с целым комплексом социальных проблем, американский философ создал образ положительного героя нашего времени — либерала-ирониста — сторонника принципа локальности. Идеальный герой и его автор полагают, что нет смысла говорить о «свободе от ограниченного пространственно-временного контекста»¹⁰³. Им близка стратегия М.Пруста, который «овременил и оконечил авторитет встреченных им людей, рассматривая их как создания случайных обстоятельств»¹⁰⁴. Р.Рорти и его «герой» полагают, что возвышенность «по природе своей приватна, <...> достигается высвобождением из-под того или иного конкретного наследства (словаря, традиции, стиля), пугающего человека тем, что может сковать всю его жизнь»¹⁰⁵. Они «сознают, что термины самоописания всегда подвержены изменениям, <...> сознают случайность и хрупкость своих словарей, а значит и самих себя»¹⁰⁶. И то, что «у каждого из нас может быть свой путь к совершенству, но мы должны сделать так, чтобы это стремление к совершенству не мешало социальному сотрудничеству»¹⁰⁷. И то, что «солидарность не раскрывается рефлексией, но созидается. Она созидается повышением нашей чувствительности к определенным подробностям боли и унижения других, незнакомых нам людей»¹⁰⁸.

Пристрастность позиции Р.Рорти предстает особенно рельефно при соотнесении ее с мнением З.Баумана. Польско-британский социолог считает случайность и эпизодичность характеристиками нынешнего социального контекста. «То, о чем большинство из нас ныне узнает из своего опыта, так это о том, что все образования в окружающем нас мире, какими бы прочными они ни представлялись, не имеют иммунитета против изме-

нения; <...> что в целом время разбито на эпизоды – каждый с началом и концом, но без предыстории или будущего; что существует либо малая, либо отсутствует вообще логическая связь между эпизодами, даже их сменяемость выглядит подозрительной, чистым совпадением, случайностью; и что большинство из этих эпизодов, возникшая из ниоткуда, проходят и исчезают, не оставляя каких-либо дляящихся последствий. Иными словами, мир, в котором мы живем <...>, представляется отмеченным *фрагментарностью, дисконтинуальностью и отсутствием последствий*, – пишет он в монографии 1995 г., имеющей показательное в этом смысле название: «Жизнь в фрагментах. Очерки о постмодернистской морали»¹⁰⁹.

З.Бауман отдает себе отчет в тех предпосылках, которые способствовали нынешнему смещению локальности в центр общественной жизни. Он хорошо знает, откликом на что именно является этот феномен. Иными словами, социолог во многом солидарен с Р.Рорти в оценке позитивного потенциала локальности. Однако ему как бы не дает покоя вопрос об опасностях, которые, на его взгляд, таятся в том или ином явлении. Помнить о возможной амбивалентности любого явления – таков принцип З.Баумана¹¹⁰. Придерживается он его и при работе над локальностью.

Методологический прием, к которому он периодически прибегает, – процедура выпаривания, высушивания социального явления¹¹¹. Концентрированный сухой остаток он представляет в виде социальных типажей и ключевых процессов эпохи. Эти гротескные «образы» позволяют отчетливо ощутить, над какими ценностями нависает угроза помимо тех, которым открыто противопоставляет себя постмодернистская реальность, каковы скрытые следствия, о которых сторонники «нового» не говорят, но которые со временем могут дать о себе знать.

З.Бауман демонстрирует глубину проникновения принципа фрагментарности в повседневную жизнь нашего современника тем, как понимается ныне, в частности, процесс идентификации. Если в эпоху модернизма человек был озабочен построением идентичности, а также ее поддержанием, то теперь приоритетной становится задача избежать ее окаменения, превращения в нечто раз и навсегда фиксированное¹¹².

Процесс идентификации, полагает социолог, воспроизводит принципиальное различие модернизма и постмодернизма, которое З.Бауман демонстрирует парой соответствующих метафор: создание/переработка (creation/recycling). В то время, как процесс создания предполагает акт сам по себе необратимый, «одноразовый», переработка – многократно заново начинаяющееся действие. Очень выразительно это различие передает тип средств документирования, получающий наиболее широкое распространение в соответствующий период. Если ходовым средством такого рода для модернизма в общем и целом была фотобумага, то для постмодернизма им стала видеопленка. З.Бауман напоминает о желтеющих со временем, делающих все более увесистыми семейные альбомы, старых фотографиях, однажды запечатлевших наших родных или нас самих. Между тем видеопленка предоставляет нам возможность переиначивать свой образ, создавая все новые дубли на месте прежних¹¹³.

Бесспорно, обретаемая постмодернистским человеком гибкость в определенной мере коррелирует с независимостью личности, ее свободой от давления и жесткой регламентации со стороны всевозможного рода авторитетов. И в этом отношении З.Бауман, думается, подпишется под каждым словом Р.Рорти. Вместе с тем, озадачив себя вопросом: что представляет собой «тень», отbrasываемая триумфально шествующей локальностью, – З.Бауман чуть ускоряет темп сменяющих друг

друга кадров-идентификаций. В результате такого приема выкристаллизовываются гротескные типажи прогуливающегося (stroller), бродяги (vagabond), туриста, игрока. Рисуя (чуть карикатурно) их образы, Бауман демонстрирует, что параллельно с обретением немалой мобильности, самодостаточности, эти типажи фактически лишены укорененности и человеческой привязанности. Они предпочитают расширяющееся пространство своего движения месту, с которым отождествляли бы себя, и людям, за которых несли бы ответственность. Будучи в каком-то месте («*being in the place*»), группе, они, как правило, не ощущают себя частицей этого места («*being of the place*») или сообщества¹¹⁴. Им чуждо чувство Дома, равно как и ответственность перед другими. По мнению социолога, подобное состояние доставляет человеку немало боли. «В приватизированном существовании есть много радостей: свобода выбора, возможность испробовать многие жизненные варианты, шанс сделать себя соответственно личным представлениям. Но в нем есть и свои горести: одиночество и неизлечимая неопределенность относительно наиболее желательных из уже сделанных и предстоящих выборов», — пишет он¹¹⁵.

Рисуя гротескные образы представителей нынешней эпохи, З.Бауман не ставит перед собой цель объявить войну «героям дня». Ибо полагает, что их появление обусловлено объективным ходом событий, сопротивляться которому по меньшей мере было бы наивно. Функция его типажей — просветительская: привлечь внимание, сделать очевидным, предупредить о косвенных следствиях ключевых тенденций времени.

Подход, видящий разное в локальности — светлые и темные стороны, — позволяет состояться диалогу между сторонниками и противниками явления, символизирующего эпоху. Между тем подобная позиция рабо-

тает не только на день сегодняшний. Повествование о феномене как об амбивалентном делает явным его связи и с прошлым, и с будущим.

Раскалывая реальность, амбивалентность тем самым раскрывает перед нами веер более или менее вероятных сценариев предстоящего. Чем станет для нас локальность: преградой или трамплином — вопрос, волнующий З. Баумана и, как он полагает, каждого, чувствующего ответственность за свой завтрашний день¹¹⁶.

Одновременно локальность, в интерпретации З. Баумана, содержит намек, «воспоминание» о прошлом. Дело в том, что в качестве «тени» — малопривлекательного и нежелательного — помимо прочего воспринимается исчезновение имевшего место ранее. Прошлое косвенно дает о себе знать через собственные факты, отсутствующие в настоящем. Да, актуализация локальности подразумевает крушение системы. Но проблема интеграции, в прошлом представлявшая собой задачу системы, остается на повестке дня. А потому интеграция — шлейф, от которого локальность не может освободиться.

Соотнося локальность с контекстом прошлого и будущего, З. Бауман фактически располагает это амбивалентное явление на перекрестке континуальных и дисконтинуальных отношений между днем вчерашним и завтрашним.

* * *

По всей видимости, можно говорить о существовании определенной корреляции между методологическим ракурсом обращения к локальности и отдельными ее свойствами. Три позиции отношения к локальности: презентирующая, возлагающая надежды и акцентирующая амбивалентность — каждая по-своему проливает свет на соответствующие стороны данного феномена.

Фиксирующий подход Ю.Мамлеева позволяет увидеть, насколько локальность органична для жизни человека. При этом наше стремление вытеснить, подавить локальность предстает ничем иным, как готовностью идти на поводу однажды сложившегося стереотипа о предпочтительности исключительно принципов целостности, интегративности.

Позицию Р.Рорти отличает надежда, что принцип локальности расширит для личности ее поле возможного, ибо этот принцип непосредственно связан с независимостью, самосовершенствованием и при этом страхует от ущемления аналогичных прав других.

Наконец, внимание З.Баумана к амбивалентности напоминает нам об ответственности за то, какое конкретно воплощение получит содержащийся в локальности потенциал.

Наша жизнь пришлась на период истории, когда многое в общественной и частной сфере разворачивается согласно логике локальности. Но мы можем сами себе заметить, что личный опыт и рефлексия по поводу него каждого из нас вносят немалую лепту в облик этого феномена.

Послесловие

Думается, не мог остаться незамеченным тот факт, что в представленном выше повествовании фигурировало два «действующих лица», хотя имя только одного вынесено в заглавие. Локальность, как ни парадоксально это может на первый взгляд показаться, тесно переплетена, сцеплена с феноменом целостности.

Да, действительно, в качестве общественной идеи и принципа социальной практики локальность способна поставить под сомнение устои некогда монолитно-незыблемых систем. Вместе с тем для различного рода социальных фрагментов сохраняет актуальность вопрос об их состыковке друг с другом, а также об их собственной внутренней интегрированности. Более того, очевидно, что за каждым из двух названных феноменов стоит своя группа вполне актуальных ценностей: с одной стороны, автономность, самостийность, с другой — совместная деятельность, сопричастность. Наконец, как уже отмечалось выше, последовательно реализуемый принцип локальности — благодаря презумпции о контекстуальной привязке и ограниченности, предельности возможностей любого социального явления — предостерегает от абсолютизации того или иного рода. Соответственно сам по себе принцип локальности не в состоянии выступать равнопродуктивным способом описания, объяснения и организации на всем пространстве социальной реальности.

Наш современник столкнулся с достаточно большим числом локальных социальных образований и связанных с ними принципов существования, которые длительное время оставались частично скрытыми, частично вытесненными на периферию общественной жизни. На социокультурной «карте» произошел определенный сдвиг в пропорциях. Но ни в коей мере не смена «кар-

ты» как таковой. Локальность – в той мере событие второй половины XX в., в какой существует наряду с другими не похожими на нее феноменами. Присутствующая в содержании феномена локальности допустимость «иного» определяет его уживчивость с отличающимися социокультурными реалиями. Было бы противоестественным, если бы принцип сочетания разного, привносимый феноменом локальности, им же и нарушался. Более того, в век глобализации, мощных интеграционных процессов в сфере экономики, коммуникаций, по меньшей мере наивно полагать, что, пусть и получающий широкое распространение, феномен способен вытеснить из общественной жизни установку на единение. Феномен локальности сохранит привлекательность до тех пор, пока не окажется отрезан от феномена целостности, пока допустимо будет вести поиск возможных вариантов отношений между ними.

Примечания

- 1 *Панарин А.С.* Революционные кочевники и цивилизованные предприниматели // Вест. АН СССР. 1991. № 11. С. 31.
- 2 Там же.
- 3 *Рорти Р.* Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 30.
- 4 См.: *Bauman Z.* Legislators and Interpreters: On Modernity, Postmodernity and Intellectuals. Cambridge, 1987.
- 5 *Bauman Z.* Sociology and Postmodernity // The Sociological Review. 1988. Vol. 36. № 4. P. 792.
- 6 См.: *Simmel G.* The Stranger // On Individuality and Social Forms. Chicago, 1971. P. 143-149.
- 7 *Bauman Z.* Modernity and Ambivalence // Theory, Culture & Society. 1990. Vol. 7. P. 150.
- 8 *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Cambridge, 1991. P. 3-5.
- 9 *Бауман З.* Философия и постмодернистская социология // Вопр. философии. 1993. № 3. С. 46.
- 10 *Bauman Z.* Sociology and Postmodernity. P. 812.
- 11 *Панарин А.С.* Революционные кочевники и цивилизованные предприниматели // Вест. АН СССР. 1991. № 10. С. 21-22.
- 12 *Орtega-и-Гассет Х.* Восстание масс // Вопр. философии. 1989. № 3. С. 120.
- 13 *Гвардии Р.* Конец нового времени // Вопр. философии. 1990. № 4. С. 144.
- 14 Хотя ниже речь пойдет о воздействии массы на личность, в целом проблема субъектности на индивидуальном уровне во многом созвучна той, что существует и на уровне совокупных социальных субъектов.
- 15 *Грушин Б.А.* Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987. С. 218.
- 16 Там же. С. 212-213.
- 17 *Маканин В.* Сюжет усреднения // Знамя. 1992. № 1. С. 107-126.
- 18 Там же. С. 114.
- 19 Там же. С. 119.
- 20 Там же. С. 115.
- 21 Там же. С. 117.
- 22 *Канетти Э.* Человек нашего столетия. М., 1990. С. 406.
- 23 *Baudrillard J.* The Ecstasy of Communication // The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Port Townsend, Wash., 1983. P. 133. Ibid. P. 132.
- 24 *Bauman Z.* Intimations of Postmodernity. L. & N.Y., 1992. P. 194.

- 26 Набоков В. В. Избранное: Сборник. М., 1990. С. 601.
- 27 Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1992. С. 145.
- 28 Там же. С. 188.
- 29 Пруст М. По направлению к Свану. М., 1992. С. 157.
- 30 Там же. С. 314.
- 31 См. об этом: Мамардашвили М.К. О призвании и точке присутствия (Из цикла лекций о Марселе Прусте) // Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М., 1994. С. 93-122; Подорога В.А. Начало в пространстве мысли: Мераб Константинович Мамардашвили и Марсель Пруст // Философия по краям. Ad Marginem'93. М., 1994. С. 197-198.
- 32 Пруст М. Под сенью девушек в цвету. С. 198.
- 33 Там же. С. 59.
- 34 Рорт Р. Указ. соч.
- 35 Там же. С. 138.
- 36 Рыклин М.К. Предисловие // Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М., 1993. С. 7.
- 37 Деррида Ж. Back from Moscow, in the USSR // Жак Деррида в Москве. С. 17.
- 38 Рыклин М.К. Back in Moscow, sans the USSR // Жак Деррида в Москве. С. 113.
- 39 Деррида Ж. Указ. соч. С. 69.
- 40 Там же. С. 16.
- 41 Там же. С. 14.
- 42 Там же. С. 13.
- 43 Рыклин М.К. Предисловие // Там же. С. 8.
- 44 Там же.
- 45 Bernstein R.J. The New Constellation. The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity. Cambridge, 1991. P. 160.
- 46 Ibid.
- 47 Ibid.
- 48 Ibid. P. 142.
- 49 Кибиров Т. Художнику Семену Файбисовичу // Кибиров Т. Сантименты. Белгород, 1994. С. 196.
- 50 Там же. С. 200-201.
- 51 Кибиров Т. Литературная секция // Кибиров Т. Сантименты. С. 334.
- 52 Кибиров Т. Л.С. Рубинштейну // Кибиров Т. Сантименты. С. 164.
- 53 Кибиров Т. Литературная секция // Кибиров Т. Сантименты. С. 339.
- 54 Кибиров Т. Сквозь прощальные слезы // Кибиров Т. Сантименты. С. 125-155.

- 55 Кубиров Т. Игорю Померанцеву. Летние размышления о судьбах изящной словесности // Кубиров Т. Парафразис: Книга стихов. СПб., 1997. С. 114.
- 56 Кубиров Т. Послесловие к книге «Общие места» // Кубиров Т. Санкименты. С. 17.
- 57 Кубиров Т. Послание Ленке // Кубиров Т. Санкименты. С. 317-318, 320-321.
- 58 Петровская Е. Сцена Вермеера // Петровская Е. Глазные забавы. М., 1997. С. 135-174.
- 59 Там же. С. 158.
- 60 Там же. С. 140.
- 61 Там же. С. 166.
- 62 Там же. С. 146.
- 63 Там же. С. 157.
- 64 Там же. С. 136-137, 140.
- 65 Там же. С. 161.
- 66 Там же. С. 159.
- 67 Там же. С. 145.
- 68 Там же. С. 143.
- 69 Там же. С. 144-145.
- 70 Там же. С. 150.
- 71 Там же. С. 142.
- 72 Петровская Е. Становление по-американски: литературный опыт Гертруды Стайн // Петровская Е. Часть света. М., 1995. С. 116-165.
- 73 Там же. С. 138.
- 74 Там же. С. 136.
- 75 Там же. С. 139.
- 76 Там же. С. 136.
- 77 Там же. С. 120.
- 78 Там же.
- 79 Там же. С. 123.
- 80 Там же. С. 127-128.
- 81 Там же. С. 162.
- 82 Там же. С. 163.
- 83 Там же. С. 154.
- 84 Там же. С. 157.
- 85 Там же. С. 161.
- 86 Bernstein R.J. Op. cit. P. 229.
- 87 В контексте данной работы представляется существенным тот факт, что Р.Бернстайн, описывая современную социокультурную ситуацию, часто обращается к понятию «rupture» (обрыв).

- 88 Ibid. P. 218-219.
- 89 Ibid. P. 9.
- 90 Lyotard J.-F. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester, 1984. P. 66.
- 91 Jamison F. Foreword // Ibid. P. VII-XXI.
- 92 Lyotard J.-F. Op. cit. P. 40-41.
- 93 Рорти Р. Указ. соч. С. 83.
- 94 Эпштейн М. От правды к истине // Независимая газета. 1992. 27 авг. С. 8.
- 95 Цит. по: Тематический монтаж дискуссии // Россия в поисках идеи. Анализ прессы. Сборник I. М., 1997. С. 22-25; Сборник II (в печати) – в скобках указан номер соответствующего сборника и фрагмента.
- 96 Мамлеев Ю. Многоженец (Рассказ отчужденного человека) // Мамлеев Ю. Вечный дом: Повесть и рассказы. М., 1991. С. 84-89.
- 97 Там же. С. 84.
- 98 Там же. С. 86.
- 99 Там же. С. 84.
- 100 Там же. С. 89.
- 101 Rorty R. Response to Charles Hartshorne // Rorty and Pragmatism. The Philosopher Responds to His Critics. Nashville and L., 1995. P. 32.
- 102 Философия без оснований. Беседы Михаила Рыклина с Ричардом Рорти // Философский pragmatism Ричарда Рорти и российский контекст. М., 1997. С. 140.
- 103 Rorty R. Habermas, Derrida, and the Functions of Philosophy // Revue Internationale de Philosophie, 1995/4, № 194. P. 454.
- 104 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. С. 139.
- 105 Rorty R. Habermas, Derrida, and the Functions of Philosophy. P. 457.
- 106 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. С. 104.
- 107 Круглый стол в Институте философии РАН с участием Ричарда Рорти // Философский pragmatism Ричарда Рорти и российский контекст. С. 71.
- 108 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. С. 20-21.
- 109 Bauman Z. *Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality*. Oxford, 1995. P. 266.
- 110 Важно иметь в виду, что у З.Баумана термин «амбивалентность» не отягощен каким-либо оценочным оттенком. Для него амбивалентность – объективное свойство социальной реальности. Так, например, моральный поступок З.Бауман определяет как поступок выбора в рамках амбивалентной ситуации: выбор между добром и злом (Ibid. P. 66). См. также: Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 241.

Вместе с тем социолог учитывает тот факт, что в определенных социальных контекстах амбивалентность вызывает оценочное к себе отношение в силу вызова, который она бросает конкретной социальной организации (Там же. С. 193-194.)

Свидетельством того, насколько большое значение придает Бауман проблематике амбивалентности, является, в частности, его монография «*Modernity and Ambivalence*» (Cambridge, 1991).

¹¹¹ *Bauman Z. Life in Fragments.* P. 8.

¹¹² Ibid. P. 81.

¹¹³ Ibid. P. 81, 267.

¹¹⁴ Ibid. P. 97.

¹¹⁵ Ibid. P. 275.

¹¹⁶ Ibid. P. 9.

Приложение 1

Коньковская школа Тимур Кибиров, Михаил Кукин, Константин Гадаев

Нижеследующее приложение задумано как раздел иллюстраций к тезисам, которые представлены в настоящей работе. Предпочтение отдано поэтическим текстам по причине того, что они — продукт вдохновения, выражение конкретного настроения и, соответственно, отличаются очевидной локальностью. Вместе с тем в данном случае отбирались тексты, в которых локальность (и прежде всего такой ее аспект, как хрупкость и мимолетность малого) выступала непосредственно предметом поэтического повествования.

Три поэта — Тимур Кибиров, Михаил Кукин и Константин Гадаев, стихи которых приводятся ниже, как минимум однажды уже столкнулись с попыткой увязать их творчество с проблематикой локальности. Не будучи сведущей в вопросах современной литературной критики, а потому не считая себя вправе давать оценку рецензии Александра Панова, мне тем не менее было трудно устоять от соблазна привести отрывки из этого более раннего опыта прочтения поэтических текстов Т.Кибирова, М.Кукина и К.Гадаева сквозь призму идеи локальности.

Александр Панов

Из рецензии «Коньковский никогда не умолкает Парнас»¹

<...> Надо рассматривать наших авторов «в совокупности». Надо, читая Кукина, вспоминать о Гадаеве и Кибирове. Читая Гадаева — о Кукине и Кибирове. Читая Кибирова — ... Наши литературные журналы, сами того не желая, ибо трудно при всем уважении к хитроумности членов редакколлегий

предположить здесь тонкий расчет и игру холодного ума, нежно и изысканно соткали оригинальный роман с незатейливой, но прочной интригой и запоминающимся, тщательно выписанным набором персонажей (они же – поочередно авторы расплзшегося по разным журналам текста)². <...>

И всплывает мерцающий смысл всего завершившегося романа – главный герой его и есть коньковский хронотоп. <...>

…важной художественной особенностью текста романа является смена повествователей, чередование точек зрения, парад стилей. Кибиров – это Кибиров, всем известный и признанный, не нуждающийся в характеристиках рецензента; Кукин – безуспешные попытки удержаться на тонком льду чистой лирики, но постепенное скатывание (или восхождение) в стихию альбома для друзей, с совмещением иронии, патетического утверждения ценностей мещанского бытия и стилизаций под любимых античных поэтов; Гадаев – самая традиционная струя в коньковской поэтике, абсолютный лиризм и почти уникальная серьезность, но при этом стремление к последней простоте и ясности, собственный поэтический жанр – двенадцатистишие, оказывающийся на деле сцеплением трех строф, плодом незатейливой фантазии, – все это выдает традицию упрощения, своюенную коньковцам <...>. Коньково родилось как попытка спасения привычного лирического начала в поэзии, при этом обогащенного безобидной иронией и апологией того самого маленького счастья, за которое рецензент готов жизнь положить.

Сочинить бы стих прекрасный,
чтоб от сердца отлегло,
чтоб не билась понапрасну
мысль, как муха о стекло,
чтоб без лампы в день ненастный
стало в комнате светло,

– провозглашает Гадаев задачу коньковцев. Легкость, простота, просветляющий пафос, живое, человеческое начало, при этом нечуждость уместному использованию материалов и средств из хранилищ мировой культуры (цитаты, размеры, стилизации, коннотации) – вот принципы коньковцев. <...>

...что может быть глубже, насыщеннее и онтологичнее, нежели картины реального, а не выдуманного мира, образы Конькова, а не Эдема наркотического сознания вымороченного поэта? Все можно простить коньковцам за строчки:

Отстоянной водой
зацветший кактус поливаешь
из кружки с красною каймой

(Гадаев)

или:

вот среди горшков
Цветочных на окне закатный лучик алый
Сквозь пыльное стекло упал на Ювенала

(Кукин)

или:

меня окружают пожитки,
любимые мною давно —
и книжки, и кружки, и ложки,
и плюшевый мишка жены

(Кибиров)

Все можно потрогать руками. Все можно увидеть. В Коньково можно приехать (полчаса из центра на метро) и оглянуться вокруг. Коньковская школа выдержит и выживет, потому что ей есть на что опереться. <...> Беспочвенности нынешнего литературного мира ей есть что противопоставить.

P.S. Искатель маленького счастья торжествует!!!

Михаил Кукин³

Февральское утро

P.K.

Утро гремит у подъезда широкой лопатой,
Греет моторы, стоит, напевая, под душем,
Лоб поднимает над жаркой подушкой измятой,
Пудрится, мылится, душится, волосы сушит,
Ложечкой звякает, наскоро чистит ботинки,
В скверик выводит собаку и красит ресницы,
Маслом ложится на хлеб, бьет ладонью будильник,
Льется из крана, над чашкой кофейной дымится,
В мутное небо рассвет выпускает, грохочет
Мусорным баком, буксует на льду, вызывает
Лифт, и включает приемник, и в школу не хочет,
Кашляет, лезет в автобус, ключи забывает,
И настигает во сне, сколь угодно глубоком,
Бреется хмуро, и пастой зубною плюется,
И от плеча моего твою теплую щеку
Силится все оторвать. И ему удается.

* * *

К вечеру холодкусается. Под фонарем выдыхают
Люди и автомобили белесый клубящийся пар.
Слезы бегут из-под век. Бриллианты в сугробах
мелькают
И человек попадает в морозный мерцающий шар.

То есть, ему представляется так, будто в некоем шаре
Он заключен, от всего отгорожен, забыт, одинок.
На остановке автобусной, на ледяном тротуаре
Топчется он машинально, и ждет, и всего лишь шагок

До поглощающей бездны ему остается, до края.
Но прибывает автобус, и, стиснутый хмурой толпой,
Шмыгая носом, стоит человек — постепенно его отпускает.
И хорошо ему ехать в потемках с работы домой!

* * *

Двенадцатиэтажный, трехподъездный
Бледно-зеленый блочный дом родной!
Не более не менее как бездной
Ты окружен. И ночью надо мной
Плывет луна, клубятся тучи, звезды
Мерцают, хоть невидимы отсель.
Сидишь и смотришь телек. Льется воздух
В окно через оставленную щель.

Внизу под фонарями снег белеет.
Заводит кто-то глухнущий мотор.
Спокойно, тихо так. И взгляд тускнеет.
Ну, досиделся! Спать пора... Обзор
Последних новостей, где кровь и взрывы
Глотаешь машинально. Наконец,
Погода... Слава Богу, мы-то живы,
Анюта, Ритка, мама и отец.

А бездна? Бездна... Между занавесок
Чуть розоватый, грязный, вот опять
До потолка ночных небес отрезок.
Задернуть бы, да лень уже вставать.

О снах

Бадминтонная сетка под мелким дождем
Отсырела, провисла немного.
Печь затопим, просушим-ка дом перед сном,
Печь хорошая здесь, слава Богу.

Как береза красиво и жарко горит —
И в печи с ней ничто не сравнится.
А над нами по шиферу дождик стучит.
Хорошо у печи притулиться.

Головою поникнуть, на угли смотреть,
Кочергою поправить полено,
Согреваться и вдруг задремать, улететь
В мир иной — и вернуться мгновенно.

За мгновение это увидеть во сне,
Как ни странно, морозную зиму.
Снег лопатой кидать, а потом при луне
За бутылкой сгонять к магазину.

И вернуться уже, по стаканам налить,
И глотнуть — и опять возвратиться
В середину июля. Ну как объяснить,
Что, откуда, зачем это снится?

* * *

P.K.

Смолкли лягушки в заросшем пожарном пруду.
Густо засеяно звездами черное небо.
Старые яблони в мокром осеннем саду
Подняли вверх отсыревший и спутанный невод.

Лампа на нашей веранде, наверно, видна
Издали в этой почти опустевшей вселенной.
Бочка налита с краями, вода в ней темна.
Бросишь окурок — он гаснет в потемках мгновенно.

Сядь на колени ко мне. Стало холодно здесь.
Все здесь печально, все только и помнит о лете —
Это крыльцо, и кусты, и намокшая жесть,
Этот комарик случайный, последний на свете.

Так обними меня, ляжем, прижавшись, во тьме.
Дождь застучит на рассвете по шиферной крыше.
Скрипнет ступенька, ты что-то мне скажешь во сне.
Я буду спать и уже ничего не услышу.

Кончится осень, березы простятся с листвой,
Грянет зима и снегами завалит округу.
Мы будем спать, мы сроднимся с подснежной травой,
Тихо дыша и во сне согревая друг друга.

Зима

P.K.

Помнишь из физики? Ось отклонилась.
Меньше теперь поступает тепла.
Небо нахмурилось. Солнышко скрылось.
Осень румяная к югу ушла.

Где-то на севере у эскимосов
С белой крупой развязался мешок.
Крутит Зима шестеренки-колеса,
Сыплется наземь колючий снежок.

Выглянешь утром — кругом побелело.
Тщетно заводит сосед мерседес.
В небе воздвиглось и зарозовело
Дымное диво над трубами ТЭЦ.

Нежные нимфы попрятались в шубы.
Греться в подъезды сатиры ушли.
Северный ветер дыханием грубым
Снежные бури поднял от земли.

Бури взвились, полетели повсюду,
Мертвые листья сорвали с дерев.
Бродит по городу ведьма-простуда,
Грипп разъезжает, ей на спину сев.

Мерзнет сиделец в фанерном ларечке,
Шмыгает носом, деньгами шуршит.
Эх, далеко золотые денечки!
Вьюга Бурановна в щели свистит.

Бедный прохожий по льду ковыляет –
Здесь бы песком бы... Да дворников нет!
Сизые щеки Борей надувает,
Дует, верзила, прохожему вслед.

Праздники скоро! Колбаска, салаты,
Пена шампанская, водка рекой.
С горки несется, рулит снегокатом
Год наступающий, бэби, плейбой...

В зиму такую засядем на кухне.
Чайник поставим, «Столичной» нальем.
«Вести» посмотрим, по стопочке ухнем,
Ухнем, закусим да чаем запьем.

Так зимовать завещал нам Гораций.
Так же велел и Державин-старик.
Курса такого и будем держаться –
Надо ж чему-то учиться из книг.

Будем учиться, под лампою сидя,
Думать, читать, замечать-примечать.
Пушкин да Чехов, Гомер да Овидий,
Верно, помогут нам жить-зимовать.

А не помогут – никто не поможет.
Лед не растает, зима не уйдет.
Брякнется, руку сломает прохожий.
Кухню в Коньково метель заметет.

* * *

Ночь мутноокая. Молчаний,
но движущийся человек.
Ему тревожен первый снег,
припорощивший город спящий.
Зазябшим ангелом храним,
он отступается все чаще.
«Как жалок этот Третий Рим!..»
Катастрофически хрустящим
ледком озучен каждый шаг.
Поглощено пространством времяя.
В единый препинанья знак
сжимается стихотворенье.

* * *

Ноябрь. Криклию ворону
порывом сносит и ершит,
подсчитывает барыши
внизу оркестр похоронный.
Кругом бранятся все грубей:
ноябрь. У мусорного бака
уныло роет снег собака,
не вспугивая голубей.
Вот и душа, как та тряпичка,
повисшая на проводах.
Ноябрь, с тобою не в ладах
одна лишь вспыльчивая спичка.

* * *

Всю ночь над ржавою Москвой
круженье оборотней белых,
и сердца маятник живой
надежней стрелок оробелых
в той битве за клочок тоски,
любви ли, просто ли бумаги,
где воздух светел, сны легки,
а в серединке двое — наги.
Но растворяется звезда
кристалликом обычной соли,
и — то ли дождик зимний, то ли
стучится в окна к нам беда.

* * *

В сухую пригоршню глагола
«прощать» все крошки собери
своей любови невеселой
и зимним птицам подари.
Отсутствие — больней и где-то
коварней просто пустоты:
вот стул — на нем сидела ты
в кругу задымленного света.
Вот зеркало, что нас порой
с бесплотной грустью отражало —
и капля по щеке бежала,
не успевая стать слезой.

* * *

Под вечер, вербным воскресеньем,
ты входишь, чувственно-тиха,
с каким-то грустным опасеньем
в пустую комнату стиха.
Апрельской мгле приоткрываешь
окно. Отстоянной водой
зацветший кактус поливаешь

из кружки с красною каймой.
Волос каштановых струенъ,
цветок и воздух молодой
исчезнут с первою звездой —
останутся в стихотворенье.

* * *

Засыпал в духоте, комара материли,
а под утро шум ливня меня разбудил.

Увидал я, вдохнув вожделенный озон,
что осыпался за ночь пурпурный пион,

разлетелись по комнате черновики,
и мазками темнеют на них лепестки,

что помет голубиный с балконных перил
из брандспойта пожарник невидимый смыл,

что подол задирает аж под потолок
 занавеске-невесте сквозняк-женишок.

* * *

Спросонок ревниво слежу за лучом
сквозь радужный трепет в ресницах:
как жадно тебя он целует в плечо,
и ластится, и золотится!

Ты тоже, голубка моя, хороша —
раскинулась, дышишь призывно.
А штору задернуть, чтоб вам помешать,
боюсь, будет слишком наивно.

Наивно и, может, печально чуть-чуть,
одним безрассудным движеньем
возможности в солнечный свет заглянуть
лишить тебя в миг пробужденья.

* * *

Ах, Машка, помнишь, как в волнах
дробились блики и дрожали,
как голышом на голышах
горячих рядышком лежали?
Омытой ливнями Москвой
теперь бреду вечерним шагом.
Бездюдно. Под посольским флагом
расхаживает постовой.
Во влажном рокоте Садовой —
Медведь-гора, ночной прибой,
на рейде лучик голубой,
погаснуть каждый миг готовый.

* * *

Свет какой-то госпитальный.
Перекресток. Ни души.
Что-то шепотом прощальным
лето высказать спешит.

На путях трамвайных блики.
По асфальту лист шуршит.
Человечек невеликий.
Перекресток. Ни души.

Бездна бездну призывает.
Бездне бездну подавай.
Только ты, душа живая,
уповай, не унывай!

* * *

Одновременно дождь и день
сошли на нет. Туманный вечер.
Влюбленных сдвоенную тень,
таясь, покачивает ветер.
В немолчном тиканье часов
и в нашем тихом разговоре
неуловимый в сети строф
мотив колеблется в миноре.
Короткий о любви рассказ,
с трудом дочитанный до точки.
Те двое, словно напоказ,
расходятся поодиночке.

* * *

Артему Рондареву, прозаику

В сад Мандельштама заглянувши
(поэта? – нет, большевика),
о лете, только что минувшем,
черкни, не смерклося пока.
А смеркнется – пройдись, петляя,
до набережной, где река
струит огни, исподтишка
печаль вином усугубляя.
Тут осень взглянет свысока
на густок тени у причала,
твой уголек приняв сначала
за выжившего светляка.

Тимур Кибиров⁵

Из книги «Сантименты»

**Вместо эпиграфа
Из Джона Шейда**

Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь
от блеска зелени в распахнутом окне,
от пения этих птиц, от этого июля, —
не стыдно ли тебе? не страшно ли тебе?

Когда сквозь синих туч на воды упадает
косой последний луч в озерной тишине,
и льется по волне, и долго остывает, —
не страшно ли тебе? не стыдно ли тебе?

Когда летящий снег из мрака возникает
в лучах случайных фар, скользнувших по стене,
и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает
на девичьей щеке, — не страшно ли тебе?

Не страшно ли тебе, не стыдно ль — по асфальту
когда вода течет, чернеет по весне,
и в лужах облака, и солнце лижет парту
четвертой четверти, — не страшно ли тебе?

Я не могу сказать о чем я, я не знаю...
Так просто, ерунда. Все глупости одне...
Какая красота, и тишина какая...
Не страшно ли, скажи? не стыдно ли тебе?

Из цикла «Памяти Державина»

2

Столь светлая — аж золотая! —
весенняя зелень сквозит.
Вверху облака пролетают,
а снизу водичка блестит.

Направо, налево — деревья.
Вот тут — ваш покорный слуга.
Он смотрит направо, налево
и вверх, где плывут облака.

Плыите! Я тоже поплыл бы,
коль был бы полегче чуть-чуть,
высокому ветру открыл бы
уже поседевшую грудь!

И так вот — спокойный и чистый,
лениво вертя головой,
над этой землей золотистой...
Такой вот, простите, херней,

такою вот пошлостью вешней,
и мусорной талой водой,
и дуростью клейкой и нежной
наполнен мой мозг головной!

Спинной же сигналит о том, что
кирзовый ботинок протек,
что сладко, столь сладко — аж тошно,
аж страшно за этот денек.

15. Вокализ

И вот мы вновь поем про осень.
И вот мы вновь поем и пляшем
на остывающей земле.
Невинны и простоволосы,
мы хрупкими руками машем,
неразличимы лица наши
в златой передзакатной мгле.

Проходят юные морозы
и смотрят ясными глазами,
и мы не понимаем сами,
мы просто стынем и поем,
мы просто так поем про осень,
сливаясь с зыбкими тенями,
мы просто гибнем и живем.

И бродим тихими лесами.
И медленные кружат птицы.
А время замерло и длится
и луч сквозь тучи тянет к нам.
Неразличимы наши лица
под гаснущими небесами.
И иней на твоих ресницах,
и тени по твоим стопам.

А время замерло и длится,
вершится осени круженье,
и льдинки под ногой звенят.
Струятся меж деревьев тени,
и звезды стынут на ресницах,
стихает медленное пенье
и возвращается назад.

И юной смерти приближенье
мы чувствуем и понимаем,
и руки хрупкие вздыхаем,
ища подругу средь теней,
ища в тумане отраженье,

лесами тихими блуждаем,
и длится пенье и круженье,
и звезды меркнут меж ветвей.

Мы пляшем в темноте осенней,
а время зыбкое клубится,
струятся медленные тени,
смолкают нежные уста.
И меркнут звезды, никнут лица,
безмолвные кружатся птицы.
Шагов не слышно в отдаленье.
На льду не отыскать следа.

21

Чайник кипит. Телек гудит.
Так незаметно и жизнь пролетит.

Жизнь пролетит, и приблизится то,
что атеист называет Ничто,

что Баратынский не хочет назвать
дочерью тьмы — ибо кто тогда мать?

Выкипит чайник. Окислится медь.
Дымом взовьется бетонная твердь.

Дымом развеются стол и кровать,
эти обои и эта тетрадь.

Так что покуда чаевничай, друг...
Время подумать, да все недосуг.

Время подумать уже о душе,
А о другом поздновато уже.

Думать. Лежать в темноте. Вспоминать.
Только не врать. Если б только не врать.

Вспомнить, как пахла в серванте халва,
и подобрать для серванта слова.

Вспомнить, как дедушка голову брил.
Он на ремне свою бритву точил.

С этим ремнем по общаге ночной
шел я, качаясь. И вспомнить, какой

цвет, и какая фактура, и как
солнце, садясь, освещало чердак...

Чайник кипел. Примус гудел.
Толик Шмелев мастерил самострел.

Из цикла
«Двадцать сонетов к Саше Запоевой»

18

Промчались дни мои. Так мчится буйный Том
за палкою, не дожидаясь крика
«Апорт!», и в нетерпении великому
летит назад с увесистым дрючком.

И вновь через орешник напролом,
и лес, и дол наполнив шумом диким —
и топотом, и тявканьем, и рыком,
не ведая, конечно же, о том,

что вот сейчас докурит сигарету
скучающий хозяин, и на этом
закончится игра, и поводок

защелкнется, а там, глядишь, и лето
закончено, а там уже снежок...
Такая вот метафора, дружок.

Из поэмы «Сквозь прощальные слезы»

Лирическая интермедия

Смотрят замки, горы, долы
В глубь хрустальных рейнских вод.
Моцарт, Моцарт, друг веселый,
Под руку меня берет.

Час вечерний, луч прощальный,
Бьют на ратуше часы.
Облака над лесом дальним
Удивительной красы.

Легкий дым над черепицей,
Липы старые в цвету.
Ах, мой друг, пора проститься!
Моцарт! Скоро я уйду!

Моцарт! Скоро я уеду
За кибиткой кочевой.
У маркграфа на обеде
Я не буду, дорогой.

Передай поклон Миньоне.
Альманах оставь себе.
Друг любезный! Я на зоне
Буду помнить о тебе.

Знаешь край? Не знаешь края,
Где уж знать тебе его!
Там, над кровлей завывая,
Бьются бесы — кто кого!

Там такого мозельвейна
Поднесут тебе, дружок,
Что скопытишься мгновенно
Со своих прыгучих ног.

Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой, брат мой, ночью ясной
Там горит моя звезда.

Знаешь край? Я сам не знаю,
Что за край такой чудной,
Но туда, туда, туда я
Должен следовать, родной.

Кто куда — а я в Россию,
Я на родину щегла.
Иней белый, ситец синий.
Моцарт! Моцарт! Мне пора.

Кто о чем, а я о бане,
О кровавой бане я...
До свиданья, до свиданья!
Моцарт! Не забудь меня!

Я иду во имя жизни
На земле и в небесах,
В нашей радостной Отчизне,
В наших радужных лучах!

Ждет меня моя сторонка,
Край невыносимый мой!
Моцарт рассмеялся звонко:
«Что ж, и я не прочь с тобой!»

Моцарт, друг ты мой сердечный,
Таракан запечный мой!
Что ты гонишь, дух беспечный,
Сын гармонии святой!

Ну куда тебя такого?
Слишком глуп ты, слишком юн.
Что для русского здорово,
То для немца карачун!

Нет уж! Надо расставаться!
Полно, херц, майн херц, уймись!
Больше нечего бояться.
Будет смерть и будет жизнь.

Будет, будет звук тончайший
По-над бездною лететь,
И во мраке глубочайшем
Луч легчайший будет петь!

Так прощай же! За горою
Ворон каркает ночной.
Моцарт, Моцарт, Бог с тобою!
Бог с тобою и со мной!

Моцарт слушал со вниманьем.
Опечалился слегка.
«Что ж, прощай. Но на прощанье
На, возьми бурундука!

В час печали, в час отчайныя
Он тебя утешит, друг,
Мой пушистый, золотистый,
Мой волшебный бурундук!

Вот он, зверик мой послушный,
Глазки умные блестят,
Щиплют струны лапки шустры
И по клавишам стучат!»

Ай, спасибо, Моцарт, милый,
Ах, прекрасный бурундук!
До свиданья! До могилы
Я с тобой, любезный друг!

И иду, иду в Россию.
Оглянулся — он стоит.
Сквозь пространства роковые
Моцарт мне вослед глядит.

Машет, машет треуголкой,
В золотом луче горя,
И ему со Вшивой Горки
Помахал ушанкой я.

Гадом буду — не забуду
Нашей дружбы, корешок,
Ведь всегда, везде со мною
Твой смешной бурундучик.

И под ватничком пригревшись,
Лапки шустрые сложив,
Он поет, и я шагаю
Под волшебный тот мотив.

Приложение 2

Второй блок текстов приложения умышленно задумывался эклектичным по жанру и тематике с целью продемонстрировать небольшим числом работ, насколько многогранен материал, в котором пропускают контуры локальности, и как по-разному она используется в качестве средства интерпретации.

Михаил Свердов

Из словарной статьи
«ТОЛКИН (Tolkien), Джон Рональд Руэл»⁶

<...> В детской сказочной повести [«The Hobbit»] 1937 года он [хоббит] был дан с точки зрения рассказчика-воспитателя – как «меньший брат» человека, чей маленький рост (в половину человеческого) – метафора «домашнего» масштаба Хоббитании, ее ограниченности сферой бессобытийного быта, чей домик-нора – метафора укромности Хоббитании, ее спрятанности от большого мира. Мораль повести: в ограниченном и маленьком существе скрываются возможности роста; надо только выйти в большой мир, взять на себя ответственность за «приключение» и таким образом познать самого себя. Во «Властелине колец» [«The Lord of the Rings», 1954–1955] принципиально иной масштаб – эпический. Здесь с хоббитом себя должны идентифицировать не читатели-дети (маленькие по отношению к миру взрослых), но читатели-взрослые («маленькие люди» по отношению к большой истории). В эпопее метафора хоббитского «малого роста» должна развернуться в своеобразную философию обыденной жизни. В обыкновенном и дюжинном содержатся начатки великих дел; почва большой истории – повседневность и быт. «Почвенность» – вот найденный Толкиным ключ к характеру хоббитов, будничные качества которого способны к удивительным превращениям: скромности – в самопожертвование, здравого смысла – в героическую находчивость, оптимизма

и жизнелюбия — в стойкость и мужество. В «слабости» хоббитов коренится их сила («Хоббиты цепко держатся за мир»; «обеими ногами стоят на земле»; «То они мягче масла, то вдруг жестче старых древесных корней», — так о них говорят персонажи эпопеи). Толкин, по собственным словам, создал хоббитов маленькими, чтобы «выявить в существах более чем слабых поразительный и неожиданный героизм обыкновенного человека в «крайних обстоятельствах». Измениться должно и отношение рассказчика к своему персонажу: эпический рассказчик уже не возвышается над ним, но становится на его точку зрения и описывает происходящее как бы его глазами. Более того: по завершении работы Толкин готов приравнять хоббита — к себе, а его самоотверженное путешествие в книге — к четырнадцатилетней истории создания самой книги.

Сравнение Толкиным себя со своим героям оправдалось. Как и хоббит, писатель взял на себя ответственность, которая казалась выше его сил, и выдержал ее: итогом рискованного выбора (двойной ставки — на литературу в союзе с филологией) стал литературный подвиг (создание волшебной истории, по масштабу, сложности и глубине значительно превосходящей предполагаемые возможности жанра). Не отказываясь от основных жанрообразующих категорий и тем волшебной истории (таких как чудесное, героическое, тема борьбы добра и зла), Толкин отказывается от привычной сказочной условности и добивается мощного эффекта остранения: так волшебная история усилиями Толкина поднимается до уровня наиболее впечатляющих достижений литературы XX века.

Категории и темы волшебной истории воплощаются в захватывающих сюжетных перипетиях, но осмысляются — в сложном теологическом контексте (Толкин воспитан в духе католицизма и на всю жизнь остался ревностным католиком). Так чудесное и героическое переосмыслены как этапы исторического и эсхатологического времени. Традиционный героический поход («quest») становится как бы движением во времени: в миф — к первоначалам добра и зла, в легендарное прошлое и — неожиданно — в трагическую современность. В мире мифа глядящему глазами хоббитов читателю является чудесное, в мире эпоса — героическое, но вовсе не как

заданная жанровая условность. Чудо и рыцарская героика тем ощутимее, что над ними навис приговор исторического времени, что они обречены уйти в необратимое прошлое иувидены «в последний раз». К концу повествования главный герой книги хоббит Фродо, а с ним читатель уже расстались с «Фэери» (волшебным миром) и настигнуты «современностью». Не случайно в последней части «Властелина колец» окружающий Фродо ландшафт так часто напоминает военные полигоны и индустриальные пустыри: с каждым шагом все ближе он к героям XX века, все дальше от легендарного прошлого. Ему не дано ни эпической определенности, ни возможности открытого противостояния врагу. Вместо этого — отчаянная внутренняя борьба, отчуждающая хоббита от Хоббитании, обрекающая на одиночество, раздваивающая сознание. Вызванная магическим кольцом душевная болезнь Фродо пугает читателя своей актуальностью: в маленьком хоббите вдруг уггадывается открытый новейшей литературой «маленький человек», вынужденный противостоять «пустыне» вокруг себя и «чудовищу» в самом себе.

Тема добра и зла остраняется за счет теологической диалектики. Сила зла в эпопее настолько велика, что не вписывается в жанровую условность: вездесущее, оно преследует и извне, и изнутри. Внешнее зло расширяется, захватывая все новые территории — в то время как добро идет на убыль, замыкаясь в одиноких оазисах своего прошлого. Внутреннее зло еще сильнее — сконцентрированное в образе Кольца Всевластия. Кольцо есть аллегория греха. Не в состоянии привнести тьму извне, оно ищет — и находит ее на дне личности своего владельца, испытывая сильных — соблазном власти, слабых — соблазном обладания. Почти неограниченному злу противостоит добро, ограниченное извне и ограничивающее себя изнутри: извне, потому что не имеет права посягать на чью-либо свободу воли, а значит, и претендовать на власть; изнутри, потому что оно чувствует себя виновным за прошлое и потому что в будущем ему грозит опасность превратиться во зло. Победа добра кажется невероятной; его шанс — именно в возможности свободного выбора: она наделяет даже слабого элементарным здравым смыслом, способностью воображения и дюжинным мужеством в минуту опасности —

когда приходится спасать себя, свой дом и свой мир. А зло, хоть и является результатом свободного выбора, теряет эту возможность, а с ней — и подлинное бытие: какой бы силой оно ни обладало, ему не дано в полном смысле «быть». Обретенное на ложное и призрачное бытие («развоплощение»), зло оказывается логически несостоятельным и в итоге само себя уничтожает.

<...> В конце XX века судьба наследия Толкина представляется парадоксальной: плоды ученой игры и сложного литературного синтеза оказались востребованными массовой культурой, а основными потребителями оказались подростки и молодежь.

Александр Рубцов

Материалы к книге
«В ожидании Идеи»⁷

<...> В таких ситуациях, как наша, национальная идея приобретает необходимое напряжение, только если она ставит в центр внимания какую-нибудь достаточно острую проблему общенационального развития на уровне традиции, предлагая проект ее решения в обозримые сроки и по понятным алгоритмам.

Драматизм российской традиции и истории — в сочетании величия целого и униженности частного, высокой духовности (или претензии на духовность) и бытовой неустроенности, блеска и запущения, прорывов и падений.

Если перевести временную метафору в пространственную, то вся наша история — это дом, в котором есть поражающие мир парадные залы — и огромные площади темных, нечищенных, руинированных помещений, в которых плохо жить и которые стыдно кому-либо показывать.

Эта метафора просматривается буквально во всем: в судьбах преобразований, в представленности мировому сообществу, во взаимоотношениях государства и человека, в соотношении столиц и периферии, «витрин» и «подъездов», в

любви к «родным пепелищам» и недостаточной «оседлости». Наконец, это есть и в самом национальном характере, в устройстве нашей психологии.

Видимо, отсюда вся российская традиция одновременно и высокой самооценки вплоть до кичливости – и жестокого, беспощадного морального самоистязания.

В этом контексте просматривается задача исторического масштаба: сохранить и развить все лучшее, чем богата наша культура, но освободившись от всего недостойного, что приходилось бы стыдливо прятать; преодолеть разрыв между «фасадом» и «задворками», глобальным величием и приниженнностью, запущенностью локального.

Возникает тема реформирования России как **«обустройства Дома»**. Причем такого обустройства, которое бы шло снизу, с малого, поднимало страну как **единое и равноправное целое**, а не сводилось бы к процветающим оазисам реформаторства.

При этом особое значение сохраняет задача показать, каким образом уникальные обстоятельства нынешнего развития страны и самой цивилизации позволяют именно сейчас поставить эту задачу во главу угла, взяться за ее решение и более или менее успешно разрешить. <...>

Содержание идеологемы «локального обустройства» Метафора «Дома»

Отношение к России как к **общему Дому**, который нуждается в **обустройстве** и уже обустраивается – трудно, но вполне ощутимо.

Россия как страна и цивилизация начинается **с малого, локального**.

Россия – это твой **Дом**. Но твой дом – это **тоже Россия**.

Не может быть по-настоящему великой России с худыми крышами и покосившимися плетнями.

Страна – это «дом по обе стороны твоего порога». При этом «порог» (а значит, и образ «дома») **подвижен** в пространственной иерархии – будь то квартира, подъезд, двор, село, город, регион и т.д. Таким образом, выстраивается **многоэтажная**, пронизывающая схема – от индивидуальной «норы» и малой Родины до Державы и далее, включая Диаспору.

Великая и в то же время открытая (самой себе и миру) Россия немыслима без наведения порядка — «ремонта», «генеральной уборки», «благоустройства» **в каждой точке**, какой бы малозначимой она ни казалась.

Страна — это место, предназначенное чтобы **жить, а не бороться**. Ценно все, что позволяет и помогает обустраивать; вредно все, что мешает обустройству и разрушает.

Изменения оцениваются не по политизированной мифологии, включая «официальную статистику», и даже не по идеологизированному самоощущению граждан, склонных прибendиться и прикидываться страдальцами, а по тому, что **непосредственно видимо**, что не обманывает: по тому, что строится, во что люди одеваются, что продают и что приобретают.

Метафора «Дела»

Реальное, практическое дело имеет большую ценность, чем включенность в политику и идеологические противостояния. Именно Дело и есть то, что «обустраивает», наводит порядок в «Доме».

Человек Дела должен иметь соответствующий авторитет и социальный статус, заслуживает общественного Признания. Так же, как человек, который обустраивает Дом — будь то индивидуальное жилье, город, регион или страна в целом.

Возможность заниматься Делом — одно из главных обретений последнего времени. Новые трудности большей частью связаны с тем, что люди не успевают освоить другие возможности и инструменты действия и самоорганизации.

В специальной и целенаправленной реабилитации нуждаются целые сферы деловой активности, еще недавно незаслуженно дискредитированные (торговля, услуги и т.п.).

Особый разговор — делание денег «из воздуха», незаслуженный, незаработанный успех.

Метафора Дела вполне достойна того, чтобы стать одним из ключевых символов происходящих преобразований, сдвигов. Страна в кое-то веки **занялась делом**, освобождаясь от «дел» мнимых и бессмысленных, сугубо символических, от имитации деятельности и результата. Это видно уже по тому, как обустраивается Дом — Россия.

Предисловие к книге
«Наказание свободой. Смысл и перспективы
либеральных тенденций в современной России»⁸

На первый взгляд, в России сейчас представлен целый веер идеологий, политических ориентаций, конкурирующих программ. Почему постсоциалистическая судьба России связывается с одним из элементов этого спектра – именно с проблемой либерализма, с судьбой либеральных тенденций? Почему именно тема свободы ставится в центр обсуждения? Об этом приходится говорить специально, поскольку известная претенциозность названия и подзаголовка книги в данном случае не украшение, а обозначение действительного статуса проблемы, как она понимается автором.

В самом деле, речь сейчас идет именно о судьбе российской свободы – или о судьбе России, вдруг обретшей небывалую для себя свободу и не знающей, как ею распорядиться. Это – шарнир, на котором сейчас проворачивается (или не проворачивается) вся наша многострадальная история.

И именно **сейчас**. Это слово в данном случае несет особых смысловую нагрузку, выражает фундаментальный историософский принцип, адекватный скоростям сверхбыстрых процессов, с которыми приходится иметь дело. Сейчас, чтобы мыслить правильно, надо мыслить **исторически локально** – на той временной дистанции, которая может быть реально освоена и которой сейчас более чем достаточно, чтобы делать реальный практический выбор. Это не означает свертывания большой исторической перспективы в анализе проходящего. Но это означает, что в таких исторических обвалах на фоне большой перспективы становятся значимы буквально мгновения, а пространство маневра и выбора предельно сужается.

Только кажется, что страна заново родилась и свободно выбирает будущее. Нам не к лицу и не по летам юношеская романтика «выбора жизненного пути». Мало что так деформировало понимание происходящего, как образ «молодой российской демократии». Не та физиология. Общество переживает агонию, усугубленную неправильными родовыми схватками. При этом важно удержаться от того, чтобы, зад-

рав штаны, бежать за комсомолом, в каком бы обличье он заново не явился. Важно «всего лишь» сохраниться в том полупостельном режиме, хуже того — в тех строгих процедурах реанимации, которые позволяют по крайней мере не сорваться опять в кому. И понять, где на самом деле находится краник, дозирующий главную капельницу.

Эта «клиника» выстраивает идеологии и политические силы практически по одной оси: свобода — или какой-либо из вариантов несвободы (большой или меньшей, так или иначе оправданной и т.п.). Сейчас даже не особенно важны различия между либералами, по-разному обосновывающими свободу, между нелибералами, по-разному эту свободу критикующими и ограничивающими. Как ни странно, это уже второй вопрос, в какой конечный пункт намерены привести страну либералы, демократы, коммунисты, социалисты, державники, националисты, фашисты, центристы с социал-демократами и т.п. Все это — различия только в цвете и количестве свободы и несвободы. И мне как аналитику неважно, что ко многим из этих идеально-политических ориентаций я отношусь с пониманием и даже симпатией, а некоторые держу вообще за пределами права, человеческой морали и совести. Ситуация, как я ее вижу, такова, что дело решается на ближней развилке, на минимальных возможностях усиления централизации, регулирования и контроля. То есть до того, как определятся цвет и даже степень ограничения свалившейся на страну свободы. Ведь независимо от политической окраски и меры радикализма первые планируемые шаги во всех наших полемизирующих с либерализмом проектах практически одинаковы. И это принципиально. Не случайно Зюганов даже своим соратникам обещает несколько месяцев ничего особенно не трогать, а уже потом начать отправку эшелонов с предпринимателями по просторам нашей необъятной Родины. И не случайно за всем разнообразием идейных хитросплетений постоянно маячит пугающее простой вопрос: почему так мало меняется в социально-экономической стратегии после замены Гайдара на Черномырдина, хасбулатовского парламента на рыбкинский и т.д.? Наверное, дело все же не в президенте, залезающем на танк, только под угрозой переместиться с дивана на дыбу.

Таким образом, акцент на проблеме российского либерализма отнюдь не обусловлен идеиной, а тем более политической ангажированностью автора (хотя от обычного авторского неравнодушия к своему предмету трудно избавиться вовсе). Наоборот, основная установка этой книги — попытаться проанализировать либеральную перспективу (или перспективу либерализма) в России, вынеся за скобки наши ценностные предпочтения, идеиные симпатии, самые страстные политические желания. И эта установка происходит не от стандартно отвлеченной претензии на научность, беспредпосыPOCHную аналитику. Просто такова теперешняя — постсовременная — история, заставляющая мыслить по возможности локально не только во временном, но и в ценностном отношении, в предельно сокращенной аксиологии. Мы сплошь и рядом спорим не о том, что на самом деле решает. Исторические «заслуги» как минимум последних десятилетий поставили нас в совершенно особое положение, когда делать приходится **не то, что должно, а то, что можно**, не то, что «хорошо», чего хотелось бы, а что еще допустимо, что позволяет, не болтая попусту о светлом будущем, хотя бы расплатиться с прошлым минимальной ценой (хотя она часто и кажется непомерной). Когда принимать ближайшую перспективу приходится уже не как реализацию одного из более или менее радужных проектов, а как судьбу. Или, если угодно, даже как наказание.

Примечания

- 1 Панов А. Коньковский никогда не умолкает Парнас // Независимая газ. 1994. 13 апр. С. 7.
- 2 Речь идет о подборке стихов Т.Кибирова, опубликованной в ноябре 1993 г. в журнале «Знамя», М.Кукина – в феврале 1994 г. в журнале «Новый мир» и «Дружба народов», К.Гадаева – в марте 1994 г. в журнале «Новый мир».
- 3 Цитируется по изданиям: Кукин М. Поругание романтизма // Знамя. 1996. № 11. С. 3, 8-9; Он же. Из книги «Коньковская школа» // Частная мифология. М., 1996. № 1. С. 202-203; а также рукопись, любезно предоставленная автором.
- 4 Цитируется по изданиям: Гадаев К. После утреннего ливня // Новый мир. 1994. № 3. С.4-5; Он же. Уповай, не унывай // Дружба народов. 1994. № 7. С.157-159; Он же. Стихи // Рукопись. Журнал филологического факультета МГУ. М., 1994. С. 20-21; а также рукопись, любезно предоставленная автором.
- 5 Цитируется по изданиям: Кибиров Т. Сантименты /Восемь книг/. Белгород, 1993. С. 147-149, 253; Он же. Парафразис: Книга стихов. СПб., 1997. С. 17, 33-34, 50, 71.
- 6 Цитируется по рукописи, любезно предоставленной автором (статья подготовлена для издания: Словарь английской литературы XX в.).
- 7 Цитируется по рукописи, любезно предоставленной автором.
- 8 Цитируется по рукописи, любезно предоставленной автором.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Введение	5
Пределы и преграды, трещины и разрывы	10
Массовизация как контекст	18
Ломаная судьбы	28
Почерк повествующего	39
Локальность и социум	55
В пространстве России: национальная идея как принцип общественной интеграции	62
Вместо заключения. Локальность глазами современников	74
Послесловие	86
Примечания	88
 Приложение 1	93
Коньковская школа	
Тимур Кибиров, Михаил Кукин, Константин Гадаев	93
 Приложение 2	114
<i>Михаил Свердлов</i>	
Джон Толкин (фрагмент)	114
<i>Александр Рубцов</i>	
В ожидании Идеи (фрагмент)	117
Наказание свободой (фрагмент)	120
Примечания	123

Научное издание

Ася СЫРОДЕЕВА

Мир малого. Опыт описания локальности

Утверждено к печати Ученым советом

Института философии РАН

В авторской редакции

Художник: *В.К.Кузнецов*

Технический редактор: *Н.Б.Ларионова*

Корректоры: *Е.В.Захарова, Т.М.Романова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.93 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 31.08.98.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 03,91. Уч.-изд. л. 04,49. Тираж 500 экз. Заказ № 038.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Н.Б.Ларионова*

Компьютерная верстка: *Ю.А.Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119842, Москва, Волхонка, 14